Владимир Иванович Валуцкий

**Повесть о неизвестном актере**

*Сценарий написан в соавторстве с Александром Зархи*

1

Пал Палыч последнее время редко виделся с человеком, которого сейчас хоронили на маленьком, тесном кладбище. Он встречал его порой в Доме ветеранов сцены, куда приезжал навещать свою бывшую жену. Высокий старик в очках с толстыми стеклами, неправдоподобно укрупняющими глаза, еще год назад суетился в вестибюле, расклеивая объявления о мероприятиях, ругался с персоналом, не любил сидеть в комнате и всегда был на виду. Теперь он умер — тихо и естественно, как, впрочем, умирали все в этом доме, и похороны были такие же тихие, без рыданий и долгих надгробных речей. Пал Палыч стоял в сторонке, менее других причастный к происходящему, и смотрел, как мимо движется очередь стариков и старушек, одетых опрятно и старомодно, — чтобы бросить традиционную горстку земли. Делали они это по-разному, и все несколько театрально — но это было не позой, а существом, ибо артист всегда останется артистом. Мария Бенедиктовна тоже бросила свою горстку, приопустившись на колено, и всплакнула. Пал Палыч подошел последним и, бросая землю, увидел край гроба, обитого веселенькой, голубой с оборками материей.

Потом все медленно шли обратно по аллее, к воротам, и Мария Бенедиктовна, совершенно уже успокоившаяся, говорила своим резковатым, мало изменившимся с молодости голосом:

— Так вот и тает наш выпуск… Коля ушел… остались ты, да я, да кто еще?

— А Миша Тверской? — сказал Пал Палыч. — В прошлом сезоне Макбета сыграл.

— Ну — он далеко, в Москве… Ах, Коля тоже был бесподобный Макбет! Помнишь, в Астрахани, в двадцать девятом году?.. В наши свадебные гастроли!

— Ты путаешь, Маша, — возразил Пал Палыч. — После свадьбы мы играли в Саратове. А в Астрахани играли — это уже когда родился Вадим.

В другое время Мария Бенедиктовна, может, поспорила бы, но сейчас спорить показалось ей бестактным, и она просто вздохнула.

— Летит время. Вадим мне что-то давно не писал… Он опять уезжает — в свое Марокко?

— На сей раз — в Браззавиль, — сказал Пал Палыч.

— Это где ж такое? — удивилась Мария Бенедиктовна.

— Далеко, Маша. В Центральной Африке.

— Боже мой, и жарища, наверное, в этой Центральной Африке!

Они остановились у ворот, Марии Бенедиктовне нужно было направо, к похоронному автобусу, поджидавшему близких покойного, Пал Палычу — налево, к вокзалу.

— Вот привезет Вадим Катеньку, — сказала Мария Бенедиктовна, — милости прошу десятого к нам на премьеру! Мы ставим «Виндзорских насмешниц», чудесный режиссер. Из Тобольска!.. Только непременно — с Катенькой, я по ней очень соскучилась.

— Непременно, — ответил Пал Палыч, хотя знал, что ни внучка Катенька, ни сын Вадим, ни он сам уже давно не были для жены главным в ее жизни. Поселившись в Доме ветеранов, Мария Бенедиктовна прочно, самоотреченно и фанатично зажила его делами и заботами. Но так ей было лучше, а раз лучше — значит необходимо, и Пал Палыч это понимал.

Он улыбнулся ей на прощание — ободряюще, и она улыбнулась ему, давая независимой своей улыбкой понять, что в ободрении не нуждается, а ее уже звали от автобуса коллеги, и Пал Палыч, наклонившись, поцеловал жене руку — маленькую, сухую, никогда не знавшую привычной женской работы. И заторопился к вокзалу — во-первых, потому, что поезд отбывал скоро, а во-вторых, для того, чтобы быстрее уйти от длинной ограды, за которой чернели кресты и памятники: он не любил и избегал всего, что напоминало о старости, вечере и смерти.

Пал Палыч работал в театре, который был достопримечательностью и гордостью Белореченска, но обслуживал не столько сам маленький город, сколько окружавший его район. Поэтому большую часть времени труппа проводила в разъездах.

Вместе со всеми Пал Палыч трясся в автобусе многие сотни километров, вытаскивал машину из грязи в осеннюю распутицу, держал в пути на руках хрупкие предметы реквизита, помогал разгружать декорации с грузовика. Он играл в заводских и колхозных клубах, где сцена не позволяла развернуться фантазии режиссера, играл на стройках, в пионерлагерях, на баржах и просто — под открытым небом, на площадке грузовика, заменявшей сцену.

Ветер трепал билетные книжки у кассира, иногда сдувал реквизитную скатерть со стола, и зрители весело гонялись на ней вместе с актерами.

Он гримировался в диспетчерской железнодорожного узла, в вагончике полевого стана, ночевал в школе, на сеновале; часами ждал на маленьких разъездах проходящего поезда — это было трудно, но привычно, и тем милее казался родной Белореченск, когда заляпанный автобус возвращался на его улицы, останавливаясь то возле одного, то возле другого дома. Усталые актеры и актрисы с чемоданчиками выбирались из автобуса и скрывались в подъездах и за калитками. А автобус, постепенно пустея, приближался к центральной площади, где стояло старинное здание, и афиша у театрального подъезда уже объявляла, что вечером состоится очередной спектакль.

В тот вечер шел «Егор Булычев». За кулисами, тесными и полутемными, происходила обычная деловая толкотня: готовили реквизит для следующего акта, спешно подшивали платье молоденькой актрисе, браня при этом какую-то Светильникову, которая не вовремя уехала на кинопробу в Свердловск и заставила делать срочный ввод. Ждали выхода или пережидали паузу актеры, занятые в спектакле; робко жались у перил лестницы проникшие в святая святых девушки с цветами. Одна из них протянула букетик молодому актеру, игравшему в спектакле Звонцова. Тот принял букет небрежно, но с видимым удовольствием, выслушал застенчивые комплименты и, стрельнув у кого-то сигарету, направился по коридору к своей уборной.

Здесь топтался в растерянности немолодой, низенький помощник режиссера, которого в труппе все звали запросто — Гришей.

— Ты, Петя, это… погоди… — остановил он актера — Там у Палыча — разговор… — и Гриша жестом и гримасой досказал, что разговор, судя по всему, непредвиденный и нежелательный.

— Ему же сейчас — на сцену, — сказал Петя.

— Вот я и дежурю, — озабоченно молвил Гриша.

Из-за двери и вправду слышались неразборчивые, но громкие голоса.

— А я отвечаю — нет! — кричал Пал Палыч, уже в костюме и гриме Трубача, и, заглядывая в зеркало, взволнованно поправлял отклеивающийся ус. — И не желаю больше спорить на сей предмет — надоело!

Сын Пал Палыча Вадим — элегантный, коротко стриженный — стоял посреди комнаты, курил и говорил, негромко, сдержанно:

— Я уже третий день здесь, отец…

— Так улетай — чего тебе еще нужно? Привез Катеньку — и отправляйся в свою Урунди-Бурунди…

— …и третий день, — переждав ответ, продолжал Вадим, — тщетно пытаюсь понять хотя бы логику твоих возражений…

— Нету ее, нету никакой логики!.. — Пал Палыч воздел на себя огромную медную трубу, проверил звучание. Вадим глядел на него с сожалением.

— Что тебя здесь держит? Если долг — ты свой долг, так сказать, перед зрителем выполнил… на двести процентов. Пора, честное слово, и о себе подумать, и о нас…

— Слушай! Уйди… Оставь меня в покое, умоляю! — воскликнул Пал Палыч. — Мой долг — не экспорт-импорт, я его на проценты не считаю!

Пал Палыч уже мало думал о предмете их разговора — он с тревогой чувствовал, что настроение, необходимое для сцены, ускользает, растворяется в ненужном озлоблении… А Вадим неторопливо прохаживался по комнате, оставляя за собой пахучие дымные ниточки, и формулировал — убедительно, четко:

— Тем более что от твоего упрямства в первую очередь страдает Катя, которая совсем отвыкла от дома. Ладно — мать, она всегда была эгоисткой, но ты…

— Не смей трогать мать! — закричал, вконец теряя самообладание, Пал Палыч. — Она святая женщина! Петя! — страдальчески простер он руки навстречу молодому актеру, который все же тихонько проскользнул в гримерную к своему столику. — Да что же это, что за напасть? Что за пытка такая! Объясни ты этому мучителю, что у меня сейчас — выход! Выход! — повторил он, вкладывая в это слово всю трепетность своего отношения. — Я роль забыл… — Пал Палыч в сердцах толкнул дверь и чуть не сбил с ног помощника режиссера. — Григорий! Я же просил — посторонних ко мне перед спектаклем не пускать!

— Так ведь… — пробормотал Гриша. — Сын…

— Хоть сам господь бог! — гремел Пал Палыч, удаляясь с трубой в направлении сцены. — Поставить солдат с саблями наголо! Роту!.. Батальон!

Петя, разгримировываясь, с любопытством поглядывал на Вадима.

— А я вначале подумал, вы — автор, — сказал он.

— Какой еще автор?

— Который для Пал Палыча пьесу пишет. Верещагин. Редактор нашей газеты.

Вадим с удивлением уставился на Петю.

— Вы не знали? Говорят, хорошая пьеса. Из театральной жизни, у Пал Палыча там — главная роль…

— Редактор районного органа?.. Пьесу? — Вадим усмехнулся. — И вы всерьез верите, что — хорошую?

— А что? — с простодушием отозвался Петя. Но в его живых глазах уже поблескивали и обида и неприязнь к этому покровительственному, отутюженному человеку. — Нас еще в школе учили: для актера главное — наив и вера.

— Это — в ваши годы, молодой человек! А в его… Просто блажь какая-то! — снова заговорил Вадим об отце и опять заходил по комнате. — Сидеть здесь третий десяток лет, имея возможность играть в столичном театре, — это, знаете ли, не наив, это…

— А! Вот вы о чем, — догадался Петя и убежденно мотнул головой: — Нет, Палыч никуда не поедет.

— Почему? — воскликнул Вадим. — Объясните — почему?

— Не поедет — и все! — весело ответил Петя. — Потому что без Палыча — театра нет. Он у нас вроде как девиз. Или герб! Как же — без Пал Палыча? Вон, — кивнул Петя на приоткрытую дверь, откуда донеслись аплодисменты. — Слышите?

Вадим раздраженно дернул плечом и вышел из уборной.

Он проследовал по лабиринту темных коридоров, столкнулся с кем-то, спешившим куда-то, сердито отбросил ногой какие-то картонные колокола… Из-за пыльной занавески пробивался свет и слышались поставленные голоса. Вадим выглянул и увидел зал — маленький, заполненный зрителями наполовину, увидел клеенчатые спинки пустых кресел, трещины на протекавшем потолке и — сцену, ярко освещенную и оттого нарядную.

На сцене бушевал Егор Булычев и кричал свое знаменитое «Глуши, Гаврило…».

А в зале, в первом ряду, сидела девочка лет двенадцати и смотрела на сцену большими, внимательными глазами, и руки держала сложенными — словно для того, чтобы раньше и громче всех зааплодировать актеру, который стоял напротив Булычева с трубой и дул в нее гулко, торжественно и самозабвенно.

— Не пойму, — говорил Пал Палыч, а со стены, с фотографии в рамке благовоспитанно жмурился мальчик с челочкой, в матроске с отложным воротничком. — Он ведь полмира исколесил, видел и человеческое горе, и радость… Откуда же такая черствость, такая глухота душевная? Это что? — посмотрел Пал Палыч на собеседника. — Это и есть — новая формация? Вы ведь не такой…

Собеседник Пал Палыча, Виктор Ильич Верещагин, человек тридцати двух лет, в очках и кожаной куртке, улыбнулся короткой, сдержанной улыбкой, как улыбаются люди, понимающие с полслова и на две фразы вперед.

— Я другого не пойму, — сказал он, рассматривая фотографию рядом, где, одетые по моде двадцатых годов, улыбались в объектив двое юношей и одна девушка. — Откуда у нашего Вадима такая неприязнь к матери?

— Я вам не рассказывал? — Пал Палыч вздохнул и тоже перешел к этой фотографии. — Меня оставляли в Москве, меня и вот — Мишу Тверского, — показал он, — слыхали, конечно? Он теперь — величина, юбилей скоро… А Маша — не устроилась, получила приглашение в Саратов, ну и я — махнул за ней… В Саратове ей тоже не улыбнулось, мы скитались, вначале вместе, потом — порознь, пока Маша не осела в Омске, а я — здесь… Вот Вадим и считает ее в чем-то виноватой, а в чем, собственно? Что человеку не повезло?.. Говорит — я ради нее предал карьеру… — Пал Палыч пожал плечами. — Почему предал? И что считать карьерой?.. Как по-вашему, по-нынешнему: разве я что-нибудь предал?

Верещагин смотрел на Пал Палыча пытливо и слушал с интересом.

— А вы сами как думаете?

— А я не думаю, — помолчав, ответил Пал Палыч. — Я здесь людям нужен и не хочу гадать, что было ошибкой, а что — нет.

Он проводил гостя в переднюю, помог снять с вешалки пальто.

— Только вы, пожалуй, в пьесу это не тяните, Виктор Ильич, — бог с ним! Мало что в жизни было — пишите о том, что всем интереснее, и про концерт у зимовщиков, на Святом Лаврентии — я вам нынче рассказывал — обязательно!.. Катенька! — засуетился Пал Палыч, открывая затрезвонившую дверь.

Девочка, которую мы впервые видели в зале, на «Булычеве», вошла в переднюю, вежливо поздоровалась с Верещагиным и стала снимать пальто и боты.

— Наш главный зритель и театровед! — сообщил Пал Палыч Верещагину и спросил у Кати: — Ну-с, барышня, как вам нынче спектакль?

— Второй акт немножечко затянули, — ответила Катя, почему-то избегая глядеть в сторону Виктора Ильича. — Петя Стрижов — лучше всех. Григорий Степаныч на уходе опять чуть этажерку не свалил! — Катя засмеялась. — А Воронова мне очень понравилась.

Пал Палыч поглядывал на Верещагина с заметной гордостью.

— Это какая Воронова? Новенькая?

— Вместо Светильниковой играла. Очень мила, — похвалила Катя. — Ей два букетика пионов подарили. По-моему, у нее даже лучше Светильниковой получается.

— Ну ладно, лучше — хуже… — гордость сменилась на лице Пал Палыча беспокойным смущением, и он покашлял. — Зритель тоже разбирается, у кого лучше…

— А я — не зритель? — Катя дернула плечиком и пошла мыть руки.

— Чай на плите, зритель столичный! — крикнул Пал Палыч вслед и, обернувшись к Верещагину, виновато развел руками.

— Что? — тихо спросил он. — Так и нет ничего от Ольги Сергеевны?

— Нет ничего, Пал Палыч.

— Вы ее, я слышал, отговаривали ехать на эти кинопробы — вот она и обиделась, — сказал Пал Палыч. — Мы ведь, артисты, знаете, народ нелегкий, семь ворохов потрохов.

— Ему чего-нибудь попроще бы, а он… — Верещагин улыбнулся, и теперь, при ярком свете в прихожей, стало особенно видно, какая у него добрая, мягкая и усталая улыбка. — Ну… мне пора, номер на выходе.

— Все образуется — помяните мое слово, — Пал Палыч открыл Верещагину дверь. — И только пишите, Виктор Ильич, голубчик, дорогой, поскорее!.. Счетчик-то: тук-тук — стучит!..

Дверь захлопнулась, и Пал Палыч решительно направился на кухню, где Катя, сидя на табуретке, пила чай вприкуску.

— Ты что же это, Катерина? — с упреком спросил он от порога.

— Что? — невинно отозвалась Катя.

— Как — что?.. Кто тебя просил — про Ольгу Сергеевну?

Катя хрустнула сахаром.

— А они разве — муж и жена? И потом — все знают, что они поссорились.

— А тебя это не касается! — сердито крикнул Пал Палыч. Катя как ни в чем не бывало продолжала пить чай, и Пал Палыч молчал некоторое время, глядя на нее с неодобрением. — Злюка вы, Катерина Вадимовна, вся в отца!..

— Я ни в кого, я сама в себя, — независимо ответила Катя, сполоснула чашку и вышла из кухни.

2

Кончилось недлинное северное лето, облетели листья с деревьев.

По вечернему городу, от вокзала, мимо ресторана «Сибирь» со скворчащей неоновой вывеской — шла молодая женщина с чемоданчиком.

Улицы были немноголюдные, застроенные небольшими домами: где — старыми, с палисадниками; где — многоквартирными, новыми, в три этажа, но из всех домов, из открытых по случаю последнего тепла окон веяло одинаково уютно домашними запахами, столь не свойственными улицам большого города, где над всем главенствует запах асфальта и бензина.

Женщина свернула в переулок, почти неосвещенный, отчего окна едва проглядывались сквозь поредевшую зелень; подошла к дому с крыльцом, помедлила — и постучала.

На ступени упала полоса света, и в дверях показалась девочка.

— Здравствуй, Катя, — сказала женщина.

— Ольга Сергеевна? — удивилась Катя. — Вы вернулись?

— А что здесь такого удивительного?.. Пал Палыч дома?

— Дома. — Они вошли в комнату. На столе были разложены учебники, Катя готовила уроки. — Просто все в театре говорили, что вы уже не вернетесь. Вместо вас в «Грозу» Воронову ввели.

— Ты, я вижу, в курсе всех дел? — Светильникова усмехнулась. — Что же еще новенького, веселенького?

Они стояли друг против друга — Светильникова, не раздеваясь, Катя — не садясь за учебники.

— Скоро пьесу Виктора Ильича начнут репетировать, — сказала Катя. — Он Палычу третий акт читал.

— Ну и что Палыч говорит — хорошая пьеса получается?

— Я лично вообще считаю, — молвила Катя с некоторым вызовом, — что Виктор Ильич очень талантливый человек.

— Ах да… ты ведь, кажется, была влюблена в него, немножко, верно?

Катя поджала губы и промолчала.

— А вас опять — не утвердили? — вдруг спросила она.

Ольга не отвечала, и, подняв глаза, Катя увидела, как она отвернулась и как беззвучно вздрагивают ее плечи. В это время грохнула на кухне охапка принесенных дров, послышался скрип половиц, звук шагов, и Пал Палыч в домашней вязаной куртке явился на пороге.

И тут напряженные нервы сдали — Ольга, по-прежнему не оглядываясь, разрыдалась. Катя смотрела на деда растерянно.

— Ступай, Катя, — Пал Палыч плотно прикрыл за ней дверь, подошел к Светильниковой и нерешительно остановился в двух шагах. Ольга продолжала плакать. — Это уж совсем не годится… Никуда не годится, Ольга Сергеевна!.. Не смейте раскисать!..

Поначалу ему показалось, что именно такие строгие наставнические слова должны быть произнесены сейчас, но тут же он понял актерским чутьем их ненужность и фальшь, понял и то, что сейчас больше всего на свете ему хочется пожалеть и приласкать эту женщину. Он осторожно дотронулся до Ольгиного плеча:

— Ну, ну… голубушка, милая… Ну, я все понимаю… А они там, как всегда, — ни черта не понимают, и вообще всем этим пробам и конкурсам — грош цена, наплевать и забыть…

— В который раз? — Ольга резко и зло обернулась, но злиться было не на кого, Пал Палыч глядел на нее с таким искренним и необидным сочувствием, что Светильникова, всхлипнув, опустила ему голову на плечо, а он ее бережно погладил. — Бездарь я и ничтожество, и больше ничего…

— Как это — ничего? — возразил Пал Палыч горячо и грозно. — А кто у нас лучшая Лиза в «Живом трупе»? А Катерина?

— Вороновой заменили, знаю уже…

— А это вы сами виноваты, голубушка: третий раз уезжаете — кто-то должен играть!.. Все у вас состоится, Оленька, и молодая вы, и красивая, и любит вас хороший человек…

Ольга слушала, и слезы ее постепенно просыхали.

— Ой ли, Пал Палыч, — сказала она, отходя.

— Ей-богу, — возмущенно воскликнул Пал Палыч, — вы как дети малые! Подумаешь, великое дело — ссора! Да он только и говорит о вас, аж надоело! Узнает, что вы снова дома, — до потолка от счастья запрыгает, даром что — главный редактор, честное слово! — Ольга улыбнулась, и Пал Палыч, очень этим обрадованный, развеселился: — А мы сейчас — пир закатим, по случаю вашего возвращения! Будем вино пить и киношников бранить — идет?.. Я сейчас… айн момент!

Пал Палыч выбежал на кухню, поставил на плиту чайник; радостно суетясь, достал парадные сервизные чашки, высокие бокалы, извлек из холодильника бутылку вина, апельсины; составил все это на расписной поднос, грациозным жестом официанта взял поднос в левую руку — и, ухмыльнувшись выдумке, перекинул через локоть, для пущего сходства с официантом, полотенце. Напевая, он распахнул дверь.

В комнате была одна Катя, она сидела за столом, над раскрытыми книгами.

— А где же… — начал было Пал Палыч и смолк.

Катя дернула плечом и углубилась в учебник.

Пал Палыч постоял немного в дверях и медленно побрел обратно. По дороге он остановился у высокого зеркала в прихожей. И долго и невесело глядел на отражение пожилого человека в вязаной кофте с подносом в руке и с залихватским полотенцем, переброшенным через локоть…

В ночной редакции верстался номер. На стол главного одна за одной ложились гранки и недоверстанные полосы — и так же мгновенно исчезали, словно с печатного станка.

— Передовую — в набор, — синий карандаш размашисто подписывал фамилию — Верещагин. И сотрудник убегал в типографию. — Почему материал о конференции загнали на третью полосу? — сердито, но не повышая голоса, спрашивал Виктор Ильич у следующего. — Переставьте на первую, и что за заголовок?.. Таких уже лет двадцать не сочиняют… — Он подумал и быстро написал новое название. Спросил: — Что у нас еще для четвертой полосы? — и поскольку ответом было молчание, поднял голову.

Напротив стола стояла Ольга.

— Материал для хроники, — сказала она. — Для скандальной.

Она ждала, что он спросит ее, но он не спрашивал, просто молча глядел и радовался ее появлению, а смысл сказанных слов как будто и не дошел до него. Светильникова поставила чемодан, прошлась по кабинету, дотрагиваясь пальцами до влажных, развешанных у стен полос, — а он провожал ее любящим и радостным взглядом.

— Ты прямо с вокзала, — сказал он наконец. — Я скажу, чтобы принесли кофе.

Она ответила отрицательным кивком, задержалась у полки с раскиданными по ней страницами, написанными от руки, выбрала менее других исчерканную.

— «Сцена представляет собой разрез вагона агитпоезда. Справа — костюмы и реквизит, слева — большой плакат: „Даешь Магнитку!“» — Ольга оглянулась на Виктора Ильича: — Извини, это, наверное, пока — секрет?

— Нет, почему же, — сказал Верещагин. — От тебя — нет.

Она помолчала и тихо положила листок обратно.

— Слушай, — вдруг спросила Ольга и поглядела на Виктора Ильича. — А если ее не примут?

— Кого?

— Твою пьесу. Скажут, что все это никому не интересно…что эта штука слабее, чем «Фауст» Гете?

— А, — улыбнулся он. — Не бойся. Если не примут — я не застрелюсь.

Она глядела на него испытующе.

— Ну да… У тебя ведь есть основная профессия, а это же так— для души… А вдруг ты на самом деле — большой талант, как утверждает наша общая знакомая? А мне и правда пора кончать гоняться за синей птицей…

— Я не знал, что это тебя так обидит. Прости, я был не прав.

— Нет, ты всегда прав, Верещагин, мудрый, талантливый человек… Я смирюсь. Обещаю тебе — смирюсь, — повторила она покорно. — Только ты пиши, пиши, я тебя очень прошу… Ты станешь знаменитым, может быть даже — выдающимся, а я буду тобою тихо гордиться… Но и ты, Верещагин, гордись, что тебя любит такая красивая женщина и молодая!.. — Светильникова заглянула в зеркало. — Немного усталая, но это пройдет. — Верещагин молчал, и она спросила: — Тебе этого мало?.. Почему ты молчишь?

— Я думаю, — сказал он.

— О чем?

— А если завтра опять придет телеграмма?

— Нет… — она покачала головой. — Никуда я больше не поеду. Ведь это же правда, Палыч мог играть в столичном театре? А остался здесь, потому что любил. И ты написал об этом пьесу… Значит, так нужно? Значит — можно?

3

Прошел еще месяц, и наступила настоящая осень. Каждую неделю театральный автобус отправлялся в рейс по району.

И опять были дороги, шоссейные и проселочные, и это было привычно и неизменно, как неизменны были аплодисменты зала — то маленького, на полсотни человек, превращенного в театр из рабочей столовой, то усеянного людьми склона горы — естественного амфитеатра на открытом воздухе.

Автобус пробирался сквозь тайгу по недавно проложенной лежневке — и начинался концерт на лесосеке; он въезжал в ворота воинской части — и бритоголовые новобранцы дисциплинированно, молчаливо сопереживали Дездемоне и осуждали коварство Яго.

А после каждого спектакля артистам дарили цветы, особенно трогательные в этих местах и в это время года; обязательно выходили на сцену представители общественности, говорили теплые слова и вручали вещественное подтверждение зрительской благодарности: то ли в виде грамоты, то ли — альбома, то ли сувенира — вазы с надписью, макета буровой вышки, маленького бронзового танка или же просто куска руды, добытой на прииске в памятный театральный день…

Главный режиссер театра Роман Семенович Знаменский, покусывая дужки очков, взволнованно бегал по своему кабинету:

— Но, милый Виктор Ильич, литература и сцена — небо и земля! Вы не театральный человек, поверьте, это будет равносильно провалу спектакля!

Кабинет Знаменского, и без того небольшой, тесный, наполовину был занят полками с вещами странными, явно подарочного происхождения — своеобразным музеем. Верещагин стоял спиной к Знаменскому возле одной из полок.

— Я, конечно, не театральный человек, — отозвался он. — Но насколько мне известно, возраст на сцене — условен?.. И гримом можно достичь…

— Да, можно, все можно! — перебил Знаменский. — Вы думаете, я не прикидывал так и сяк, не продумывал сто «за» и тысячу «против»? Распределение ролей — это половина режиссуры! Герой тянет за собою весь ансамбль! А в вашей пьесе должна играть молодежь: Андреев, Стрижов… Светильникова… Милый Виктор Ильич, вы должны мне помочь!

— А вы и в Чекурдахе играли? — Верещагин рассматривал чучело черно-бурой лисицы на подставке с дарственной надписью от работников зверосовхоза. — Это же километров триста?

— Нас колеса кормят… — Знаменский не склонен был отвлекаться. — Виктор Ильич, дорогой, понимаю, что не приятный разговор, но от него не уйти!

Верещагин обернулся:

— И вы все это беретесь ему сказать?

— Если бы я мог! — Знаменский горько вздохнул.

— Значит, вы хотите, чтобы это сделал я?

— Но кто-то ведь должен сказать!.. — режиссер в отчаянии снова забегал по комнате. — Альтернативы нет, поверьте человеку, который поставил шестьдесят спектаклей! Молодой актер даст роли второе измерение. Стереоскопию!.. Наполнит сегодняшним ощущением жизни!.. Современными интонациями! А это самое ценное в вашей пьесе, голубчик, Виктор Ильич, неужели она вам не дорога!..

— Знаете, — подумав, сказал Верещагин. — Если все так непросто, я лучше, пожалуй, заберу пьесу, и…

— Великолепно! — воскликнул Знаменский. — Благородно! Забирайте!.. Но садитесь уж тогда заодно на мое место — и сами объясняйте, почему подвели театр, труппу, меня!..

— Роман Семенович, междугородний, — просунулась в дверь секретарша. — Из Вилейки звонят…

— Что там еще? — режиссер с досадой вышел к телефону в приемную, оклеенную афишами.

— Наших ждали к трем, — сказала секретарша. — А их все нету.

— Да, это я, — режиссер взял трубку. — Правильно, должны прибыть в три. — Он посмотрел на часы. — А в Межгорье звонили? Узнайте…

— Вы, наверное, Ольгу Сергеевну раньше увидите?.. — шепотом сказала секретарша Верещагину, шаря на столе. — Ей тут письмо, — и протянула конверт.

— Выехали?.. Когда?.. — Знаменский поднял тревожный взгляд на Верещагина. — Нет, больше никуда, только к вам. Хорошо… Вот видите! Час от часу не легче, — положив трубку, сообщил Роман Семенович. — Театр пропал.

Автобус стоял под дождем, завалясь на задние колеса, просевшие в трясину. Он был пуст, и окна его в свете костра проглядывались навылет — а вокруг автобуса ходил шофер в плащ-палатке и, бормоча что-то, беспрестанно с недоумением заглядывал под днище, словно надеялся этим оживить безнадежно завязнувшую машину.

— И не смейте ни думать, ни гадать, Ольга Сергеевна, — говорил, шагая, Пал Палыч. — Он славный человек, у меня — нюх на хороших людей!.. Вы будете с ним счастливы.

Артисты шли, растянувшись цепочкой. Дождь не переставал, в темноте местность была не видна; только угадывалась на несколько метров вперед дорога, а над ней нависали черные, чугунные ели. Светильникова старалась шагать в ногу с Пал Палычем, но обувь скользила, и ветер все норовил вырвать из рук зонтик.

— Они были счастливы и умерли в один день… в тихом городе Белореченске, — грустно улыбнулась Светильникова.

— А что вы думаете, — сказал Пал Палыч. — Не было бы на свете этого тихого города — не шагали бы мы с вами сейчас вот так, рядышком, и не рассуждали бы вот так, по душам, о вечных проблемах бытия…

— Под зонтиком, среди тайги, в пятистах километрах от Омска… и в трех тысячах — от Москвы…

— И это — не беда. Нужно только представить себе, Оленька, что, когда мы трясемся в автобусе, топаем пешком, клянем свои невзгоды — где-то на совсем крошечной точке земли, откуда и Белореченск кажется Москвой, нас ждут люди. Не нас ждут. Ответа от нас ждут — на свои вечные проблемы!..

Светильникова поглядела на Пал Палыча: шел он твердо, нес на плече коробку с реквизитом и в мокром, застегнутом у ворота плаще выглядел как в шинели — надежно, даже воинственно.

— Мне всегда так спокойно с вами, Па-алыч!.. Как дома, с мамой…

— Ну-с… хоть это и не лучший комплимент, который хочет услышать мужчина… — Пал Палыч улыбнулся: — И на том мерси! И давайте-ка руку, здесь колдобина…

Ольга протянула ему руку — и они пошли дальше.

Странная это была процессия.

Мужчины и женщины в городской одежде, скользя и спотыкаясь, укрываясь от дождя тонкими, неуместными здесь, среди тайги, зонтиками, шли молчаливо и медленно — потому что несли с собой костюмы в чемоданах и детали декораций — венецианское окно, фонарь; шли устало, но сосредоточенно, как идут люди на службу… И впереди всех шагал помреж Гриша с длинной палкой, как с посохом, ощупывая ею провалы размытой дороги…

— А все ушли… — Двое мальчиков подозрительно глядели на незнакомых людей, грязных, замызганных глиной по пояс, нежданно возникших из ночи в городке строителей.

Собственно, это был не городок и даже не поселок, а всего лишь несколько жилых вагончиков и два склада; и единственный фонарь на столбе освещал его весь целиком.

— Что значит — ушли? — Гриша стоял по-прежнему впереди всех, со своей длинной палкой. — Мы пришли, а они ушли? Куда же они ушли?..

— Артистов искать, — сказал мальчик постарше, а другой, помладше, у которого, в силу возраста, было меньше подозрительности, пояснил:

— Тут один дядька на вертолете прилетел. Он сказал — артисты в тайге потерялись. Все сели на самосвал и поехали.

— Не все, — уточнил мальчик постарше. — Кто со смены, те спят, а когда артистов найдут, велели, чтоб их разбудить… По радио всему району розыск объявлен.

— Вот те раз, — озадаченно произнес Гриша. — А вы что здесь сидите?

Старший мальчик замялся, а младший ответил:

— Места стережем!

За взрытой землей и штабелями труб виднелся свежесколоченный помост и ряд скамеек, где лучшие передние места были прикрыты толем и заабонированы кирпичами.

— Вот те раз, — повторил Гриша и посмотрел на стоящего рядом Пал Палыча: — Что же нам, Паша, теперь делать?

— А что, Гриша, делают в таких случаях? — Пал Палыч поднял с земли металлический стержень и направился к рельсу, висящему на столбе. — Дают звонок к началу спектакля!

Он ударил по рельсу — и густой звон понесся над поселком и над тайгой.

Вертолет шел низко, раскачивая ветром от винта верхушки елей. Верещагин смотрел в окно, но кроме темного лесного массива, кроме светящейся у горизонта широкой реки, ничего не видел. Пилот переговаривался с землей по радио: «Третий, я — седьмой, прием…» — но в переговорах этих тоже, видимо, не было ничего утешительного.

— Нет их здесь, Виктор Ильич. Нефтяники весь квадрат прочесали.

Тайга за окном накренилась, остановилась на секунду и понеслась в обратном направлении.

Верещагин теребил в руках неприкуренную сигарету. Дело могло действительно обернуться нешуточно, он знал, он не первый год жил здесь: тайга, ночь, непогода, и артисты — не охотники, не геологи, у них и карты нет с собою. Во-вторых, там была Ольга. И это, может быть, заслоняло собой все остальное.

— Иду на Вилейку, — сообщал пилот по радио. — Прошу вызвать третий, я седьмой, прием…

— Погоди! — приподнялся Верещагин. Справа на земле, словно впечатанный в тайгу, показался маленький светящийся островок. Вертолет изменил курс. Островок приближался… Скоро Верещагин различал уже и вагончики поселка, и толпящихся людей, и сцену, залитую светом фар от двух самосвалов…

Они сели неподалеку, Верещагин первым соскочил на землю. От импровизированной сценической площадки к вертолету бежал человек в полосатом костюме шута и кричал, сердито размахивая руками:

— Глуши мотор!.. Мотор глуши скорее!

Лопасти замедляли движение, и в проступившей тишине стало слышно, как звенят на колпаке сердитого «шута» бубенчики.

— Так это, значит, ты — дядька с вертолета?.. — Светильникова, в длинном платье шекспировской эпохи, гримировалась в вагончике, превращенном в гримуборную, а Верещагин сидел рядом.

Вокруг была обычная закулисная суматоха, усиленная теснотой пространства. Артисты вбегали и выбегали, поправляли грим и парики.

— Ну вот видишь, все обошлось благополучно, я и на этот раз никуда не потерялась. — Светильникова улыбнулась отражению Виктора Ильича в походном зеркальце. — А ты испугался? Скажи.

— Испугался. Думал, письмо не найдет адресата, — тоже улыбнулся Верещагин.

— Письмо? — живо обернулась Светильникова и схватила протянутый конверт. В это время высокий блондин, артист Лузанов, уже давно что-то недовольно бормотавший, попросил ее:

— Оля, пробежим текст? «Кто даст кинжал мне, чтоб с собой покончить?»

— «Лишаюсь чувств», — отозвалась Светильникова. Она читала письмо.

— «Уйдем! Разоблаченье этих дел сразило дух ее». Или — «сломило»? Виктор Ильич, вы не помните?.. По-моему, лучше «сразило», да?

Верещагин видел, как все поспешнее бегают глаза Оли по строчкам письма. И новая, едва улегшаяся волна тревоги снова рождалась в нем.

— Что-нибудь случилось? — осторожно спросил Виктор Ильич.

— Да… нет, — Светильникова рассеянно кивнула, потом покачала головой. — «Кто обвинял — тот знает, я не знаю», — она дочитывала письмо. — «И если с кем-нибудь была я ближе, чем допускает девичья стыдливость…»

— «О, рок, не отклоняй десницы тяжкой», — подхватил Лузанов, никак не попадая рукой в рукав камзола. — «Смерть — лучший для стыда ее покров…»

Верещагин поглядел на часы.

— Как ни лестно сидеть рядом с принцем и дочерью мессинского губернатора — мне пора… Нужно еще подписать номер.

— Что? — Светильникова подняла глаза от письма, и в них Верещагин прочел неожиданное, радостное известие. — Ах, да, конечно… до завтра!..

— Геро, не отвлекайтесь, — требовательно заметил Лузанов.

— Извини… «Отец мой, докажи, что я с мужчиной вела беседу в неурочный час…»

Верещагин поднялся, но медлил, не уходил, о чем-то раздумывая.

— Мне бы Пал Палыча, на несколько слов… У него скоро пауза?

— Ольга Сергеевна, где же вы? — заглянул в вагончик взъерошенный Гриша.

— Иду!.. Что ты, — бросила Светильникова Верещагину уже на бегу, оглядывая себя последний раз в зеркальце. — К Пал Палычу во время спектакля — ни на пушечный выстрел! Опасно для жизни!.. — она прощально махнула рукой и исчезла. Верещагин услышал аплодисменты и Ольгин голос:

Ступай скорее, Маргарита, в зал, Там ты найдешь кузину Беатриче, Беседующей с Клавдио и принцем…

— «Кто даст кинжал мне, чтоб с собой покончить?» — откашлявшись, снова начал Лузанов. Верещагин оглянулся, по Лузанов смотрел на него невидящими глазами и повторял фразу вновь и вновь на разные лады.

В вагончике спешно догримировывались, поправляли костюмы; пожилая, усталая актриса, кузина Беатриче уже на выходе просила Гришу застегнуть на спине непослушную молнию. И Верещагин, как часто случалось с ним и прежде за кулисами, почувствовал себя чужим, неоднородным и непричастным к происходящему наблюдателем. Он спрыгнул на землю с досок, проложенных между сценой и вагончиком; обойдя сцену вокруг, увидел зрителей. Было их в этом зале на открытом воздухе человек сто, значительно больше, чем жило в поселке, и Верещагин понял, что здесь не только местные, но и те, кто принимал участие в поисках. Зал быстро и охотно вживался в действие, смеялся, часто аплодировал — и Пал Палыч на сцене в костюме монаха поднимал руку, не то останавливая хлопки, не то сопровождая реплику:

Подождите! Я в этом деле вам подам совет!..

Верещагин уходил все дальше от сцены, от нацеленных на нее грузовиков с включенными фарами. Захлюпала под ногами непросохшая после дождя грязь. Последний раз он увидел Ольгу уже через головы самых дальних зрителей, сквозь поднимающиеся над ними частые папиросные дымки.

А Светильникова его не видела. Она играла радостно и легко и не замечала ни ночного осеннего холода, ни влажной обуви — и монах с лицом Пал Палыча склонялся над ней и произносил торжественно:

Умри, чтоб жить! И может быть твой брак Отсрочен лишь?..

И губы его еще продолжали шевелиться, но последующие слова заглушил на минуту рев вертолета. Светильникова подняла глаза к небу — и увидела, как перемигиваются огоньки под удаляющейся тенью.

Автобус въехал в город на рассвете.

Изнутри он выглядел обжитым, как бы продолжением кулис: здесь так же висели на плечиках, свешивались с полок костюмы, громоздились коробочки с гримом и была та же доверительная, полусемейная закулисная обстановка, когда не кажется странным, что кто-то положил голову соседу на плечо и спит, а рядом кто-то повторяет роль, а кто-то рядом вяжет, а кто-то — ест или играет на гитаре. Правда, сейчас в автобусе было непривычно тихо, не слышно было ни смеха, ни анекдотов, потому что прошедшая ночь была тяжелой и переезд — долгим.

Светильникова достала из сумочки конверт, оглянулась на Пал Палыча, мгновение поколебалась — и решилась:

— Пал Палыч, только вам!.. Меня вызывают в Москву.

Пал Палыч взял протянутое письмо, молвил: «Ого!» при виде внушительного бланка, прочел — и вздохнул.

— Когда я у них в театре летом была — не удержалась… подала документы, на конкурс… И вот… Смешно? — Она видела, что Пал Палыч расстроен, и старалась говорить проще, небрежнее, с бесшабашной улыбкой. — А вдруг — чем черт не шутит, была не была, а, Пал Палыч?..

Автобус остановился, двое актеров направились к выходу, и помреж, проснувшись, напоминал им о дневной репетиции.

— А ему… сие ведомо? — спросил Пал Палыч.

Светильникова покачала головой.

— Не могла сказать… Но нам дальше нельзя так — между правдой и ложью…

— Какой ложью, Оленька?

— Я обещала, что — смирюсь. Неправда. Все время только и думаю: господи, неужели это — на всю жизнь, неужели теперь даже мечтать нельзя ни о чем?.. Значит, я не смирилась, нет — только затаилась до поры… Я знаю, вы меня осуждаете, Пал Палыч.

— Отчего же… — грустно глядя на бритый затылок Гриши, промолвил Пал Палыч. — Москва для актеров — земля обетованная.

— Только попытаться, Пал Палыч! — подхватила Светильникова. — Последний раз — и пан или пропал, окончательно, навсегда!.. Не молчите, Па-алыч, милый, ведь вы единственный здесь человек, который может сказать: да или нет!

— Ольга Сергеевна, вам выходить, — шофер остановил автобус.

— Скажите, Палыч, — говорила Ольга, собирая вещи, — как вы скажете — так я и решу!..

— Нет… такого права — увольте, не приму…

— Ну скажите, как думаете, только — как на духу!..

— Как думаю… конечно, сказал бы: оставайтесь… Да ведь если вы останетесь — значит, и эта ваша неправда останется с вами? Поэтому решайте, как душа велит. А я свечку за вас поставлю Ардальону и Порфирию — они, говорят, заступники актеров…

— Па-алыч!.. — протянула Ольга, благодарно коснулась его руки — и побежала к выходу.

— Репетиция — в три, — строго заметил ей вслед Гриша.

Автобус тронулся дальше, и Пал Палыч долго глядел на удаляющуюся за окном фигурку…

Ольга открыла калитку палисадника, вошла во двор. На крыльце дома сидел Верещагин.

— Что ты здесь делаешь? — удивилась Ольга.

— Пришел спросить…

— О чем?.. В такую рань?..

Верещагин поднял на нее глаза и посмотрел в лицо:

— Что же все-таки было в этом письме?

Светильникова поникла вся как-то разом, не ответила — и медленно опустилась на ступеньку крыльца рядом с Верещагиным.

4

На столике секретарши Знаменского лежала снятая телефонная трубка.

Дверь кабинета на минуту приоткрылась, оттуда стал слышен голос, монотонно читающий, — и в приемную вышел заведующий труппой Ферапонтов, кого и ожидала лежащая трубка.

— Ферапонтов слушает, — сказал он. — Да, десятого в клубе колхоза «Белые Ключи». Почему? А, замена. Ясненько, записываю…

— Ну как? — кивнула на дверь секретарша.

— Последнюю картину дочитывает, — Ферапонтов положил трубку.

— А как — пьеса?

— Хорошая, декораций мало, возить удобно. Прошу вас, вывесите на доске, что в Белых Ключах вместо вечернего — утренник, «Том Сойер». Все подписались? — взял Ферапонтов со стола тяжелую, золоченую, поздравительного назначения папку.

— В адресе? Нет, Стрижов, кажется, и Репина…

— Ясненько, — сказал Ферапонтов, взял с собой папку и снова исчез за дверью.

В кабинете собралась вся труппа, оттого было тесно и душно. Актеры постарше и руководство сидели за столом; кому не хватило места, принесли стулья, молодежь по-свойски, в обнимку теснилась на музейных полках и подоконниках.

Верещагин собирал странички рукописи. Светильникова глядела на Верещагина со странным выражением недоверчивого удивления. Молодые артисты значительно переглядывались друг с другом, и была та самая минута скованной тишины, которая наступает после того, как дочитана последняя строчка.

— А верно, — спросил Лузанов с подоконника, — что в основе пьесы — биография нашего Павла Павловича?

Все посмотрели на Пал Палыча, потом — на Верещагина.

— В общем верно, — сказал тот.

— Конечно, не в прямом значении биография, — пояснил Пал Палыч. В день читки он выглядел нарядным, как именинник, и выбрит был глаже обычного. — В конце концов, я, видите, жив и сижу тут! Это и моя судьба, и, если угодно, любого из нас… Да вот — хотя бы Лидии Анатольевны! — повернулся он к пожилой актрисе, задумчиво сидевшей напротив с мятым кружевным платочком в руке. Она кивнула.

— Ах, как славно, как чудесно!., до мурашек хорошо!.. — актриса вытерла платочком глаза и спрятала его в рукав. — Потому что все — правда, потому что это — о нас, какие мы сеть, без прикрас и без насмешки, и так просто… А ведь жизнь и складывается из того, что кто-то пришел, кто-то ушел, полюбил, разлюбил… умер… Низкий поклон автору! — Она поклонилась Верещагину. — Мы ведь… не секрет! всю жизнь живем ожиданием своей роли, и чаще всего уходим, так и не сыграв ее… — Актриса снова потянулась за платочком, но махнула рукой, улыбнулась сквозь навернувшиеся слезы. — Мне здесь нет роли, а все равно — жить хочется, и я так рада за Пал Палыча!..

— Да, брат, — тоже растрогался и высморкался седой широколицый актер. — Роль — просто объедение! Начнешь репетировать — буду приходить, сидеть в уголочке и… нет, не подсиживать! Завидовать!

— Но ведь Пал Палыч уезжает? — вдруг подал голос Ферапонтов, и все удивленно повернулись к нему, и больше всех был поражен сам Пал Палыч. Он даже привстал:

— То есть… кто уезжает? Куда?

Знаменский покашлял и потянулся за папиросами.

— Да нет… никто не уезжает, и вообще — при чем здесь это… — он бросил досадующий взгляд на Ферапонтова, однако тот был человеком нечутким, дотошным:

— Простите, Роман Семеныч, вы сами говорили, что есть решение командировать Пал Палыча Горяева в Москву на чествование народного артиста Тверского в ноябре сего года, и вот — я уже оформляю поздравительный адрес, — продемонстрировал Ферапонтов папку.

— Так это же на недельку! — протянул широколицый актер. — Ах Мишка, стервец, — качал он головой, рассматривая адрес. — Неужели ему уже семьдесят пять? Громкая дата!

Верещагин вопросительно поглядывал на главного режиссера, но тот курил, глаз не поднимал и явно чувствовал себя неловко.

— Вы меня не так поняли, Петр Савельич, — тихо сказал он.

— Тем более, я хочу ясности, — не унимался Ферапонтов. — Занятость вы спросите с меня, начнутся репетиции, а неделька в Москве — это, смотришь, день приезда, день отъезда — весь месяц…

— Товарищи! — не выдержал и тоже поднялся Пал Палыч. — Или я сошел с ума, или… Какой день отъезда? Какого приезда?

— Конечно, конечно, — заговорил Роман Семенович с облегчением, что заминка проходит. — Наше решение было чисто предположительным, так что вы, дорогой Пал Палыч, ни о чем не волнуйтесь…

— Как я могу не волноваться, — отозвался Пал Палыч. — Я здесь для того и нахожусь, чтобы волноваться!.. А Тверскому я напишу! — повернулся он к Ферапонтову. — Что приехать не смогу, что приступаю к репетиции новой пьесы!.. Мы с ним старые друзья — он поймет.

В тот вечер выпал первый снежок. Артисты, не занятые в вечернем спектакле, выходили со служебного входа, шумно дивились случившейся в природе перемене и неожиданной белизне улиц и крыш. Кидались снежками.

Верещагин и Ольга пошли от театра пешком, через запорошенный городской сквер. Следы печатались на нетронутом снегу. Светильникова молчала, и лицо ее сохраняло все то же странное выражение, что и на читке.

— Верещагин, — вдруг произнесла она, и Виктор Ильич даже вздрогнул и остановился от внезапной официальности ее тона. — Вы хотели знать, что было в письме?.. — Ольга сделала паузу, и он ждал. — Ну так вот — у меня тоже праздник. Меня приглашают в Москву! — Он молчал. — В театр. Академический! — Его молчание сделалось ей невыносимым: — Что же ты? Поздравь меня! Верещагин!

— Я так и знал, — сказал Верещагин и медленно пошел по аллее.

— Что ты знал? — Светильникова догнала его, забежала спереди. — Ты меня не знал, вот что самое печальное. А я-то все ждала, когда же ты скажешь: Оля, неужели у тебя и вправду не осталось ни на копеечку надежды и самолюбия?.. Нет. Ты молчал, ты был очень занят — ты писал свою пьесу…

Он остановился и обернулся:

— Покажи письмо.

— Зачем?

— Ты опять едешь на какой-нибудь конкурс, тянуть лотерейные билетики. Не достаточно ли, Оля, обид и болячек?

— Ты мне не веришь? Вот как… — Светильникова грустно улыбнулась. — Не веришь — ни мне, ни в меня… Как же ты можешь тогда говорить о любви?

— Для меня любить, — сказал Верещагин, — это прежде всего значит быть вместе.

— Но ведь ты не поедешь со мной?.. Нет, — убежденно покачала она головой. — Кто же здесь без тебя будет придумывать заголовки для первой полосы: «Не отставать», «Не останавливаться на достигнутом»?.. А я… знаешь, что самое страшное? Иногда я думаю: и чего это вам, Ольга Сергеевна, желать лучшего: клуб химиков, канатный завод, колхоз «Богатырь»… Катерина в очередь с Вороновой…

Он слушал ее озадаченно, удивленно:

— Что с тобой, Оля? Какая глупость!

— Нет, Верещагин, — какой эгоизм! Ты всегда смотрел на все только со своей колокольни… А она — низенькая, дальше соседнего района не видно…

— Чего не видно, о чем речь?

— Искусства! Вот о чем. Большого, настоящего! Вечного, великого!

— Мне всегда казалось — величина искусства не зависит от географии!

— Слова! Газетная мура!

Верещагин ошарашенно смотрел на нее. И она — на Верещагина, задним числом понимая, что сказано лишнее, беспощадное и, может быть — непоправимое. И, чувствуя приближение стыдных слез, Светильникова отвернула лицо.

— Прости… Это ведь твоя профессия — выражать мысли правильно и так, чтобы никому не было обидно… А я — хорошо говорю, только когда автор написал… Но я чувствую: я должна ехать! Особенно сейчас… Пойми, ты ведь умный, тонкий человек!.. Доказать, что тоже на что-то гожусь… Ведь иначе…

— Что — иначе? — он отстранил ее лицо, чтобы лучше видеть, и глядел в глаза, темные, немигающие.

— Иначе… Я только на вид тихая, но у меня так: или все, или — петля…

5

Десятого числа, как обещал, Пал Палыч вместе с Катей приехал к Марии Бенедиктовне на премьеру «Виндзорских насмешниц».

Сцена в зале Дома ветеранов выглядела неестественно маленькой — как экран телевизора. Актерам на ней было тесновато, но декорации были настоящие, исполненные даже с налетом экстравагантности: стилизованный замок, крошечный колодец посреди дворика, южные деревья; была там и пальма, которая обычно украшала столовую. И костюмы были выдержаны в духе эпохи, а главное — актеры играли неподдельно, с чувством и азартом, разве что чересчур шумно и старательно. Катя узнала Марию Бенедиктовну не по внешности, сильно омоложенной гримом, а по резковатому голосу с капризными нотками: как раз Мария Бенедиктовна отчитывала служанку, бойко, по-театральному, подперев руки в бока.

Игра Марии Бенедиктовны показалась Кате какой-то натужной и фальшивой. Однако зал, видимо, так не считал: чуть ли не на каждую реплику раздавались аплодисменты и — что больше всего изумило Катю — громкие одобрительные возгласы. Она никогда не думала, что можно вести себя гак неприлично в театре. Лысый старик в бабочке непрестанно хохотал рядом — округло и смачно, и уже два раза успел крикнуть: «Браво!». Все это походило на какую-то игру, законы которой Кате были неизвестны, но хорошо известны сидящим в зале и суетящимся на сцене.

Это было трогательно — и в то же время вызывало тревожную жалость и ощущение своей неуместности среди людей, живущих другой, может быть, придуманной жизнью. Катя осторожно покосилась на Пал Палыча. Вначале он смотрел на сцену, как показалось Кате, с удивлением, потом — только слушал, прикрыв ладонью глаза, и Катя поняла, что Палычу тоже неуютно здесь — неуютно и стыдно.

А Мария Бенедиктовна продолжала самозабвенно лицедействовать:

— Ах, толстый старый плут! — грозила она Фальстафу пальцем. — Что бы с тобой ни сделали — все будет мало! — И вдруг, подмигнув залу и подобрав юбки, запела под фортепиано:

Пускай отныне будет вам известно, Что может женщина веселой быть и честной! Верны мужьям шалуньи и насмешницы, А в маске благочинья ходят грешницы…

Выражение страдания появилось на лице Пал Палыча, он оглянулся на Катю — Катя глядела на сцену, — и Пал Палыч, крадучись, воровато, не поднимая глаз, выскользнул из зала.

В пустом, прохладном вестибюле он несколько раз прошелся из угла в угол — а из зала по-прежнему доносился резкий голос Марии Бенедиктовны. И публика сопереживала, неистовствовала, радовалась и то и дело вновь и вновь разражалась одобрительными аплодисментами…

Пал Палыч опустился в кресло, посидел, встал, пошел по коридору, словно убегая от этих звуков, — и постепенно они стали тише; а Пал Палыч оказался перед дверью с рукописной табличкой: «Ремизова М.Б.» — дверь была не заперта, — секунду он поколебался и вошел в комнату.

Комната была небольшой, продолговатой, как номер в гостинице; при входе белел умывальник. Шкаф отгораживал в углу закуток с плиткой и электрическим чайником. Стол, крытый бархатной скатертью, занимал все пространство посредине, и на нем была рассыпана колода пасьянсных карт. Еще на столе были швейная машинка и ворох голубых и розовых легкомысленных лоскутков, часть из которых валялась на полу.

Видно было, что хозяйка не предполагала вторжения гостей, и оттого Пал Палыч чувствовал неловкость и необходимость уйти — но уйти не мог, что-то удерживало его в комнате, и было это не простым любопытством, но каким-то запретным, манящим желанием подольше побыть рядом с прошлым.

И вдруг среди неразберихи, среди полочек с потрепанными книгами по театру, аптечных пузырьков, актерских фотографий и репродукций из журналов Пал Палыч узнал то, что ему больше всего хотелось увидеть здесь: старую, пожелтевшую афишу с анонсом «Любови Яровой» и пятидесятилетней давности датой. Он подошел к ней и долго стоял неподвижно.

— Ты здесь, Палыч? — просунулась в дверь встревоженная Катя. — Почему ты ушел?

— Посмотри, Катенька, — глухим голосом сказал Пал Палыч. — Это первая наша с бабушкой афиша… Саратов, двадцать девятый год…

Катя заглянула в список действующих лиц.

— Нет, Катенька, не там… Совсем внизу, мелким шрифтом…

— «В ролях матросов и обывателей артисты театра», — прочла Катя. — Но здесь же нет ваших фамилий!

— Нет, — сказал Пал Палыч. — Тогда это называлось — статисты… фигуранты…

Он все глядел на афишу.

— А у меня вот такой не сохранилось…

— Пойдем, Палыч, — Кате не нравилось, что дед впадает в лирическое состояние, она потянула его за рукав. — Нехорошо, нас сюда не звали… И спектакль скоро кончается… Пошли!

— Я вас вижу!.. Иду! — крикнула Мария Бенедиктовна, приподнявшись на цыпочки над головами окружавших ее товарищей и помахав Пал Палычу и Кате рукой.

Они поджидали ее в сторонке, возле гардероба, а Мария Бенедиктовна принимала поздравления, улыбалась, целовалась сердечно с незнакомыми старичками и старушками. Наконец она вырвалась из окружения и пошла навстречу Пал Палычу — радостная, подвижная, раскрасневшаяся, заранее протягивая руку для поцелуя.

— Мило, замечательно, что приехали! Катенька!.. — Мария Бенедиктовна присела, чтобы поцеловать внучку. — Она совсем невеста! И копия матери! Ну, как мы учимся? — Катя не знала, что отвечать, и Мария Бенедиктовна поднялась, не дождавшись ответа, — она не могла сосредоточиться, остыть от возбуждения, да еще надо было ежеминутно улыбаться проходившим мимо людям.

— Ну? — спросила она теперь Пал Палыча. — Ну — как тебе, только честно?.. Ведь неплохо, верно?

— Да, да, — закивал Пал Палыч. — Превосходно, превосходно!..

— Правда? — спросила Мария Бенедиктовна утвердительным тоном, словно и не могло быть иначе. — А тебе, Катенька, тоже понравилось? Правда, славные костюмы? Мы ведь сами шили — все сами.

— Это замечательно… замечательно, — повторял Пал Палыч со всей силой убежденности.

— Я — как? Кажется, во втором акте я немножечко наиграла?

— Может быть, самую малость… Но в остальном — очень убедительно, очень!..

— Ах, льстец! — Мария Бенедиктовна погрозила пальцем, но скорее для проформы. — Но монолог мне действительно удался?

— И монолог и песенка… как там? «Что может женщина веселой…»

— Не так! «Пускай отныне будет вам известно…» — начала Мария Бенедиктовна, но Пал Палыч перебил ее с огромным чувством:

— Ты играла восхитительно, увлеченно, смело!.. Огромное, от души тебе спасибо, Маша!..

Катя глядела на деда и ничего не понимала. Игра, законы которой ей были неизвестны, продолжалась; теперь и Пал Палыч участвовал в ней, и — самое странное — искренне, взволнованно.

— Я вас приглашаю, — сказала растроганная Мария Бенедиктовна и протянула руки Пал Палычу и Кате. — Сейчас у нас скромный дружеский ужин…

— Спасибо, Маша, — покачал головой Пал Палыч. — Нам ехать пора. — И протянул гардеробщице номерки от пальто.

Мария Бенедиктовна широко открыла глаза.

— Вот тебе раз! Очень жаль, — воскликнула она, впрочем, без слишком большого сожаления. — Будет очень мило. Платон Ипполитыч будет петь старинные романсы при свечах.

Пал Палыч надевал пальто.

— Спектакль, Маша, вечером, в Белых Ключах.

— А как там мой крестник? Петя Стрижов? — Мария Бенедиктовна бросила взгляд на цепочку людей, потянувшихся наверх по лестнице в столовую. — Я, помню, ужасно билась с его дикцией.

— Петя? Проклевывается. Через годик-другой будет актером.

— А ты, Катенька? Ты не хочешь стать актрисой?

— Не хочу, — ответила Катя.

— Она — не в нашу породу. Ну, прощайте, милые мои. — Пал Палыч поцеловал жене руку, и она стала подниматься вслед за всеми по лестнице. — Да, Паша, — спросила она сверху, — а как я выглядела?

— Поразительно молодо, Маша!.. Как тебе это удается?

— А!.. Секрет! Секрет, голубчик! — ответила Мария Бенедиктовна и засмеялась, очень довольная. — А ты, Катенька, зря, — крикнула она внучке. — Актер — это посланник божий, быть актером — прекрасно!

Крепкие старички поволокли наверх пальму, скрыв на мгновение Марию Бенедиктовну, и Пал Палыч поспешил к выходу.

Они долго шли молча по шоссе, голосуя попутным машинам. К вечеру небо заволокло тучами, похолодал ветер, и вот-вот собирался дождь. Пал Палыч прятал нос в шарф и шагал сердито и быстро, так что Катя отставала.

— Ну? — вдруг остановился он и повернулся к внучке. — Что в рот воды набрала?..

— А ты — что сердишься? — подняла глаза Катя, и Пал Палыч, не ответив, зашагал дальше. — Разве она вправду хорошо играла?..

— Что значит — плохо, хорошо?.. — Пал Палыч отскочил от обдавшего их грязью грузовика и погрозил ему вслед кулаком. — Да, плохо, если вам угодно! Но мне дороже другое! Святое!.. Углы, кочевья, пересадки, рожденье твоего отца… Удачи, неудачи — общая память, одна на двоих, как та афиша, — не разделишь!

— Значит, ей вообще не нужно было поступать в театр! — упрямо возразила Катя. — При чем здесь память?

— При том, что ты ни черта не понимаешь! — крикнул Пал Палыч. — Девчонка!.. В театр не поступают, в театр попадают — как в тюрьму или под колеса поезда! Раз и до конца дней! Как я могу сказать ей правду, если в этих спектаклях — последний смысл ее жизни?..

Катя молчала и постукивала по мостовой каблучками туфелек, всем своим видом показывая, что не желает верить в утешительные свойства лжи.

Что-то неладное Пал Палыч заметил, еще подходя к колхозному клубу: огни не горели, народа не было, здание высилось неприветливо. Заперты были и парадные двери. Пал Палыч безуспешно их подергал, с тревогой посмотрев на Катю, побежал к служебному входу.

В фойе горела тусклая лампочка, громоздились перевернутые стулья. Старик сторож, с охотой отложив швабру, разглядывал гостей.

— Пал Палыч? — удивился он. — А ваши уехали, еще до обеда.

— Как — уехали?..

— Автобусом. Отыграли утренник — и уехали.

— Как это может быть! — воскликнул Пал Палыч. — Какой утренник?

— «Тома Сойера», — сказал сторож. — При полном аншлаге.

— Я старый болван, — Пал Палыч схватился за голову, потом за сердце и опустился на стул.

— Запамятовали, — сочувственно догадался сторож.

— Старый дурак… — повторил Пал Палыч. — Я ведь решил, что утренник завтра, а «Сойер» — вечером… Который час? — вскочил он.

— И, Пал Палыч, — сказал сторож. — Вечерний поезд уже час, как ушел.

— Первый раз за сорок лет! — с тоской произнес Пал Палыч и сел опять на стул, и глядел то на сторожа, то на Катю растерянно и виновато. — Господи, срам какой… как же они… кто же вместо меня-то?

— Филинов сыграл, — успокоил сторож.

— Что он сыграл, Филинов, что ты понимаешь! — сердито отмахнулся Пал Палыч. — Фу ты, господи… — повторил он, отдуваясь. — За сорок лет — первый раз… Слушай, Петр Фомич, — поглядел он на сторожа. — Ваш… гастроном — до которого часа торгует?..

Катя, уставшая за день, скоро заснула за барьером ложи, на креслах, укрывшись диковинным реквизитным салопом. В зале был полумрак, зато сцена с не размонтированной декорацией была освещена ярко, а на ней, как в странной пьесе, сидели за столом сторож с Пал Палычем, и стояла перед ними бутылка портвейна и закуска в виде консервов и квашеной капусты, и сторож говорил и говорил без умолку:

— А потом, Пал Палыч, вы к нам с ТЮЗом приезжали, было? «Платон Кречет» — на выездных, а «Мать своих детей» — в клубе Нахимсона!

— Нахимсона, — кивнул Пал Палыч. Оказавшись на сцене, под привычными лучами софитов, он отошел и успокоился. — Все-то ты знаешь, все помнишь, Фомич, тебе бы мемуары писать!

— А как не помнить! — сказал сторож. — Я тоже при театральном деле не первый год! Я и супругу вашу помню, царствие ей небесное…

— Ты что, типун тебе на язык! — Пал Палыч суеверно постучал по дереву стола. — Жива она и здорова!

— Жива? Значит — за здравие! — сторож разлил, и они выпили понемножку. — А в Раздольном вы играли, это уже после войны — помните?

— Осенью!

— Яблок было в том году!.. Профессора вы играли, этого… Непревзойденно играли! — одобрил сторож, провел ладонью под подбородком, изобразив несуществующую бороду и, откашлявшись, продекламировал: — «И я остаюсь тут, с моим народом и с нетопленным университетом… потому что чести, значит, участвовать в революции, не отдам… ни за какие коврижки!»

Пал Палыч развел руками:

— Ну, брат, мне — далеко, если б я так играл — давно бы в лауреатах ходил!

А сторож разохотился и радовался случаю блеснуть перед знатоком своими актерскими талантами:

— А «Царя Федора Ивановича»? Я царь или не царь?.. Царь или не царь?! — повторил он грозно и требовательно, даже топнув ногой.

— «Ты — царь!» — зааплодировал, смеясь, Пал Палыч. — Браво!

— Браво! — закричал сам себе сторож и налил еще по рюмочке. — А поглядишь, Пал Палыч, — и верно: кого вы только не играли! Монархию — играли? — начал он перечислять, загибая пальцы. — Гражданскую играли. «Оптимистическую»!.. И пятилетки играли, и войну… Да по вас историю нашего государства проходить можно!

— А это потому, Петр Фомич, что в России надо жить долго! Многое увидишь.

Сторож поднял рюмку:

— Ну — смотреть вам — не пересмотреть! — Они чокнулись, Пал Палыч отставил рюмку и закусил капустой.

— А вот погоди, — сказал он загадочно, — привезу к вам в конце сезона новый спектакль — там как раз все, о чем ты говоришь… В одной судьбе, в одном человеке, понимаешь? В тебе, во мне…

— Ага, — сказал сторож, но, судя по всему, не понял.

— Как тебе объяснить… — Пал Палыч почесал голову, за одно тронул порозовевшие щеки, кивнул на бутылку: — Мысли по древу поплыли… Ну вот — сидим мы с тобой сейчас, вроде вдвоем — а ведь уже не вдвоем! И ты здесь, и я здесь, и оно здесь — время! И прикоснись ты к нему, как вот к этим струнам, — Пал Палыч снял со стены декорации пыльную гитару, — оно зарезонирует, зазвенит!..

Пал Палыч взял аккорд и, нащупывая мотив, запел негромко:

Ходят слухи каждый час: Петлюра идет на нас… Пулеметчики — чики-чики…

— Голубчики — чики-чики! — подхватил сторож, но Пал Палыч остановил его жестом.

— Гей, песнь моя! Любимая! — ударил он по струнам, поднимаясь.

Буль-буль, буль-буль, бутылочка Казенного вина! Бескозырки тонные, Сапоги фасонные — То юнкеры-гвардейцы идут!

И прошелся с приплясом по сцене — но тут из зала неожиданно раздались тоненькие аплодисменты.

Пал Палыч удивленно остановился, вглядываясь в темноту, и увидел аплодирующую из ложи Катю.

— А ты почему не спишь, полуночница?

— Вы так расшумелись, — Катя потерла глаза, — тут уснешь.

— А мы занавес задвинем! — догадливо предложил сторож, которому очень не хотелось, чтобы импровизированный концерт кончился.

— Ну! Это будет неуважение к зрителю, — жестом отменил Пал Палыч закрытие занавеса. — Его величество зрителя нужно уважать. Что прикажете, сударыня? — поклонился он ложе.

— Что вам будет угодно! — Катя устроилась поудобнее.

— Боевое обозрение «Гитлер капут!» — подумав, объявил Пал Палыч. — Из репертуара фронтовой бригады «Катюша»! Айн момент, — огляделся он, быстро соорудил из подручных предметов подобие куклы, и она ожила, мелкой дрожью затряслась в его руках. — «Петруша, — спросил Пал Палыч. — Чиво? — ответил он сам себе голосом Петрушки. — Ты почему дрожишь? — Это не я дрожу, это земля дрожит! — А почему земля дрожит? — А потому что фриц бежит!..»

Затем Пал Палыч лихо взял гитару наперевес и замаршировал по сцене:

Скажи-ка, Гитлер, ведь недаром, Подобно ракам и омарам, Мы пятились назад? Мы пятились назад — айн, цвай!..

— Артист Артемьев вернулся из окружения, — доложил он сторожу, — в ваше распоряжение!..

— Ну даешь, Палыч! — восторженно и не по уставу отозвался тот.

— А я знаю, — хлопая в ладоши, крикнула Катя, — это у Виктора Ильича есть в пьесе!

— Это сейчас — у него в пьесе, — Пал Палыч с трудом перевел дух. — А тогда было — в жизни… И еще были дожди вторую неделю, и грязь по колено, и передовая — в полуверсте… Пушки завязли, ни с места!.. Здоровенные бойцы толкают, сибиряки — никак, а нам уже танки на пятки наступают!.. А тут один актер из нашей бригады затесался, сам щуплый, и рука — после ранения, плеть!.. А ну, товарищи, дай местечко, — Пал Палыч надел гитару, как винтовку, подставил плечо под незримую пушку. — Взяли!.. Сейчас проверим, у кого в роте повар лучше! Еще — взяли!.. Да ты ее не под уздцы, ты за жабры, за жабры, Коля, как того сома… тогда — пойдет сама!.. Что — тяжело? А девок как обнимать — так «ой, захожусь… ой, задушишь!..» Ступай, не ленись, родимая!.. — и он напрягался, перебегал с места на место, строил смешные гримасы, а может, это было от боли, потому что рука разгибалась с трудом, — и вот стало легче, ноги перестали скользить, пушка медленно стронулась с места и пошла, уже без помощи героя… а он помахал ей вслед и прижал здоровой рукой к груди беспомощную больную…

Все это предстало в исполнении Пал Палыча удивительно зримо, но Катя отчего-то больше не хлопала в ладоши и выглядела такой озадаченной, что Пал Палыч заметил и спросил несколько задето:

— Не убедил? Тебе не понравилось?..

— Я это уже видела… — сказала Катя.

— Где? — недоверчиво усмехнулся Пал Палыч.

— В театре…

— В каком?..

Катя молчала.

— В каком театре ты могла это видеть, если репетиции даже в нашем еще не начались?.. — сердито закричал Пал Палыч.

— Что ты кричишь? Именно в нашем!.. Эту сцену Петя Стрижов репетировал!

Пал Палыч растерянно глядел на нее.

— Когда?

— Два дня назад… Я за тобой заходила, а ты уже ушел, а они все там были, в репетиционном зале. Ой… — Катя схватилась за вспыхнувшие щеки: — Как я сразу не поняла!.. — И она испуганно посмотрела на Пал Палыча.

— Вот те раз… — пробормотал Пал Палыч и опять недоверчиво усмехнулся, и усмешка вышла кривой, жалкой. — Как это возможно?.. Это же — моя роль… Моя! Ты что-то напутала, девчонка?..

Катя не отвечала, а сторож ничего не понимал в происходящем. Пал Палыч сел.

— Мистика какая-то… При чем здесь — Петя?

Он вскочил, начал торопливо натягивать пальто.

— Ехать… надо ехать… сейчас же…

— Да куда ехать, опомнись, Пал Палыч! — закричал сторож. — Первый поезд только утром!

— Попутный… — Пал Палыч искал шапку.

— Поезд?

— Машина… телега… Самосвал! — шапка куда-то запропастилась. — Меня здесь каждый знает! Отвезут!.. — Он направился к выходу без шапки.

— Я тебя не отпущу одного! — схватила пальтишко и побежала следом Катя. Один сторож остался на сцене.

Он стоял и ошарашенно теребил в руках какой-то предмет, оказавшийся шапкой Пал Палыча.

— Головной убор! — опомнился сторож и тоже побежал за Пал Палычем. — Головной убор забыли!..

Дождь наконец все же собрался, а ветер — не переставал дуть, и мокро, противно хлопали друг об друга ветки деревьев.

Катя бежала за дедом и боялась что-либо спросить; Пал Палыч ее как будто не замечал, он бормотал что-то — слова срывал и уносил ветер, Катя их не слышала… Потом они очутились на шоссе, где изредка возникали расплывающиеся в дожде круги автомобильных фар, они увеличивались в размерах, ярко вычерчивали силуэт Пал Палыча с поднятой рукой — и исчезали, и все снова погружалось в неясную, колеблющуюся темноту…

Из-за двери доносился молодой знакомый голос и знакомые слова. Пал Палыч распахнул ее и остановился на пороге репетиционной комнаты, наполненной свежим, утренним солнцем.

Голос замер на полуслове.

— Что же ты, продолжай, Петя! — сказал Пал Палыч. — Продолжайте, товарищи… не стесняйтесь!..

В нем еще теплилась слабая надежда, что ему всё объяснят; что всё это — не более как недоразумение, ошибка; но по тому, как люди один за другим опускали глаза, как съежился над развернутой ролью Петя, — Пал Палыч ясно понял, что надежды на ошибку быть не может.

— Так выходит, это правда, Катенька… — тихо произнес он.

Петя, до того сидевший в оцепенении, вдруг вскочил и, опрокинув стул, выбежал прочь. А Пал Палыч замолчал. Что ему нужно было от этих людей, зачем он мчался сюда, сквозь ночь и непогоду? Роль. Ему нужна была роль. За ней он готов был прошагать через всю Россию с непокрытой головой… И помимо воли своей он заговорил вдруг с предательской, неестественной улыбкой:

— Я понимаю… все понимаю… но противу всякой логики — прошу вас… позвольте!.. Я смогу… Я докажу…

В комнате было очень тихо. Роман Семенович сидел, не поднимая головы.

— Хотите, я… на коленки встану!..

— Не смей, Палыч! — крикнула от порога Катя. Она бросилась к нему, схватила за руку и потянула к двери. — Как тебе не стыдно?

Пал Палыч, словно очнувшись, оглядел присутствующих. Не было в их лицах того понимания, на которое он рассчитывал, — была жалость, было сочувствие, было ощущение неловкости, была неоспоренная правота, а для него — невозвратимая утрата… Он медленно выпрямился, помолчал.

— Простите… — и вышел из комнаты.

В фойе мялся, курил сигарету за сигаретой и мучился укорами совести Петя. Увидев Пал Палыча, он подбежал к нему:

— Пал Палыч, клянусь вам… Честное слово, я…

— А вам кто позволил уйти с репетиции? — вдруг крикнул Пал Палыч, голос его гулко раскатился по фойе, и Петя послушно замолк. — Молодой человек!.. Марш — обратно!..

И Пал Палыч пошел к выходу — мимо висящих на стенах эскизов декораций и фотографий актеров, по блестящему, лакированному полу фойе. И в полу, как в зеркале, отражалась неторопливая, величественная фигура старика и ведущей его за руку внучки.

6

О том, что Пал Палыч уезжает, Верещагин узнал, вернувшись из недельной поездки по району. Он зашел к Пал Палычу, и ему сказала об этом соседка — за полчаса до отхода поезда. Верещагин тут же помчался на вокзал. Нарушая правила, редакционный «газик» влетел на вокзальную площадь. Верещагин выбежал на платформу.

Там стоял поезд и прогуливались редкие пассажиры; Пал Палыча среди них не было. Верещагин побежал вдоль состава, заглядывая в окна, он метался долго и безрезультатно — пока вдруг на платформе, у барьера, не увидел Катю. Она стояла с группкой провожавших ее одноклассников и держала в руке букетик красных цветов.

На оклик Катя оглянулась, но тотчас же сделала каменное лицо. Все же она отошла от ребят и приблизилась к Верещагину.

— Что случилось, Катенька? Почему вы уезжаете?.. Какой ваш вагон?

— А зачем вам это знать? — ответила Катя холодно.

— Мне нужно видеть Пал Палыча, обязательно!

Катя глядела на Верещагина хотя и снизу вверх, но в высшей степени высокомерно:

— И вам не будет стыдно? Вы ведь знали обо всем!.. Знали — и молчали?.. Ведь знали?..

Верещагин понял все: и отъезд и Катин тон — и опустил голову.

— И тоже его предали! — Катя как ни пыжилась, но слезы обиды оказались сильнее высокомерия. — Я думала, что вы здесь лучше всех… а Ольга Сергеевна — права! Что уехала от вас! Вы… вы… — она отвернулась и закусила губу, что бы окончательно не расплакаться. — Так вам и надо!..

— Катя, — взял ее за плечи и повернул к себе Верещагин, тоже очень взволнованный. — Мне необходимо поговорить с Пал Палычем! Где ваш вагон?..

Но глаза у Кати уже высохли, и в них светилась одна ненависть.

— Пал Палыч сказал, что не хочет вас видеть! — четко произнесла Катя. И добавила, глядя Верещагину в лицо: — Он так и сказал: нет хуже врага, чем прежний друг!

Она поспешно попрощалась с ребятами; поезд дернулся, засуетились проводницы, и Катя побежала к своему вагону.

Простучали, набирая скорость, колеса, последний вагон закачался на выездных путях — и скоро на платформе остался один Виктор Ильич да еще стайка ребят, не расходившихся и с любопытством за ним наблюдавших.

За окном вагона проплывали леса, трубы далекого завода, мелькали вкривь и вкось конструкции железнодорожных мостов, проносились встречные составы с углем, шпалами, с бесконечными, как пулеметная очередь, «Жигулями» на платформах.

Пал Палыч лежал на верхней полке неподвижно, в каком-то безразличном оцепенении.

Катя хозяйничала внизу, убирала со стола после ужина.

— Почему вы все врете? — вдруг, покачав головой, спросила она. — Зачем? Ты бабушке говорил неправду. А тебя обманывали в театре. Ольга Сергеевна обманывала Верещагина, он опять — тебя… А кому от этого стало лучше? Кому?

Катя стояла посреди купе, насупив брови, тоненькая, несгибаемо воинственная, с ножом и подстаканником в руке.

— Сейчас опять скажешь — это слишком сложно, ты еще ребенок, где тебе понять?.. Ерунда! — она свирепо стряхнула крошки со скатерти. — Вот вы и доигрались — со своими сложностями!..

— Катя, — сказал Пал Палыч. — А, может, мы — зря, а?..

— Что — зря?

— Уехали… хлопнули дверью…

— Палыч, ты — опять? — Катя строго взглянула на него. — Хлопнули — значит теперь нечего жалеть! — Она постелила чистую скатерть, поставила на нее стакан с красными цветами и достала уже знакомую нам золоченую приветственную папку. — Давай лучше твою речь почитаем. — Кате во что бы то ни стало хотелось растормошить деда. — Ну Палыч! Я буду читать, а ты говори, как — на слух…

Она раскрыла адрес.

— «Уважаемый Михаил Сергеевич! Вот уже более полувека вы отдаете свой щедрый талант любимому искусству сцены. Трудно представить себе прославленный театр, в котором прошла вся ваша творческая жизнь, без вашего яркого, самобытного искусства!..» Тут второй раз «искусство», это ничего, а? — Пал Палыч не отвечал. — «…без блестящей вереницы ролей, сыгранных вами за эти пять десятилетий. В ваших героях люди узнавали себя, любовались собой, совершенствовали себя, они возвращались из театра наполненные благородными порывами, просветленные чистыми слезами… и как сосчитать, сколько чувств, готовых погаснуть, было вновь одухотворено вашим искусством? Тысячи глаз смотрели на вас, тысячи сердец бились вместе с вашим, когда вы жили на сцене. И есть ли что для актера дороже…» Палыч? — окликнула Катя. — Ты слушаешь? — Она приподнялась и заглянула на полку. — Ты что, Палыч?.. Палыч, что с тобой?..

Слезы медленно текли по лицу Пал Палыча — он плакал скупо и беззвучно, как плачут старики.

7

Возле приметного театрального здания с колоннами на одной из московских улиц вытянулась вдоль тротуара вереница машин; стояло также три больших, с иногородними номерами автобуса — и все это указывало на необычность сегодняшнего, давно уже устоявшегося в репертуаре спектакля «Свои люди — сочтемся».

Над сценой, поверх декорации третьего акта нависала римская цифра «семьдесят пять» с лавровым веночком, а на авансцене возвышалось кресло, и в нем сидел юбиляр, человек с лицом, известным всей стране. А вокруг — живописно толпились и аплодировали вместе с залом на каждое приветствие занятые и не занятые в спектакле артисты.

Приветствовали театры-соседи, под барабанный бой на сцену выходили пионеры, зачитывала поздравительный адрес подшефная воинская часть, русский народный хор пел величальную… Вместе с ожидающими своей очереди толкался за кулисами и Пал Палыч, держа под мышкой золоченую папку.

Пал Палыч чувствовал себя слегка неуютно в чужих стенах и при таком скоплении народа, он озирался по сторонам, пытаясь найти знакомых. Но знакомых не попадалось; суетились распорядители, готовились монтировать декорации для следующего акта рабочие сцены, разминались перед театрализованным приветствием балерины. Кто-то на бегу кивнул Пал Палычу, а кто — Пал Палыч не успел распознать. Тогда он решил терпеливо ждать, когда его позовут, — и устроился в уголке кулис, откуда хорошо было видно сцену и юбиляра. Народный артист Тверской обаятельно улыбался, а порой и хохотал, картинно всплескивая руками. Выглядел он в общем молодцом — но Пал Палыч отметил, что с момента их последней мимолетной встречи, лет десять назад, Миша расплылся и потускнел; опытным актерским взглядом он сочувственно отметил и тяжелые складки возле усталых, несмеющихся глаз.

— «…во имя случая такого сюда примчались по Тверской, — читал кто-то под смех публики стихотворный экспромт, — поздравить Мишеньку Тверского…»

Пал Палыч подумал, что и его речь задумана нехудо и что золоченый адрес от театра выглядит, пожалуй, пороскошнее, чем у других… Но вдруг кто-то в темном костюме объявил залу: «На этом, товарищи, разрешите пожелать дорогому юбиляру…» — потом мимо Пал Палыча бегом пронесли огромные корзины с цветами, троекратно под рукоплескания раскрылся и закрылся занавес. Пал Палыч недоумевал, стоя со своей папкой. А потный распорядитель бегал среди поздравителей, извинялся, ссылался на позднее время и просил сдавать адреса ему на руки.

Когда очередь дошла до Пал Палыча, он рассеянно отвернулся, делая вид, что не слышит, — и, таким образом, папки не отдал.

Перед уборной Тверского топтались почитательницы с охапками роз и трепетно ждали. Собирая аппаратуру, вышли фотографы. Пал Палыч переложил папку в другую руку — и постучался.

— Можно, можно, нынче — день открытых дверей! — раздался благодушный бас. Тверской сидел перед зеркалом в подтяжках и клеил бороду. — Чем могу служить? — сказал он бодро и приветливо, мельком оглядел в зеркало вошедшего — и изумленно обернулся:

— Кажется, Павел Горяев — или мне это только кажется?..

Он двинулся к нему навстречу, широко раскидывая руки:

— Вот это — явление седьмое!.. Какими ветрами? — Они обнялись. — Сколько лет!

— Зим, главным образом, — улыбался Пал Палыч. — Они, знаешь, у нас длинные, холодные!..

— Значит, ты — все там? В этой… — Тверской не вспомнил где, а скорее всего и не знал никогда; ему стало неловко, и он принялся душить Пал Палыча в объятиях.

— Вот именно! Все там, Миша, все там!

— А здесь некоторым, понимаешь, лень дорогу перейти…Нельзя! — крикнул Тверской кому-то, заглянувшему с букетом. — Ну, Пашка, брат, — изумил! — он еще раз расцеловал Пал Палыча и вернулся к зеркалу. — Наших-то, поди, осталось — раз, два и никого? Как твоя… Маша — как?

— Здорова, — кивнул Пал Палыч. — Премьеру недавно играла. А вот Колю Лызлова — схоронили.

— Умер, значит, — покачал головой Тверской, занятый важным делом приклеивания уса. — Слушай, Паша! Ты ведь свободен вечером? Отыграю спектакль, и после банкета — ко мне! И никаких возражений!

— Так я и не возражаю, — сказал Пал Палыч.

Они медленно поднимались по лестнице, пахнущей краской, — Тверской впереди, распахнув шубу, Пал Палыч — за ним, держа поздравительный адрес под мышкой.

— Лифт обещают — в декабре, — говорил Тверской, — телефон — на той неделе… И вообще, на кой мне дьявол этот апартамент, чем старый был плох? — он остановился передохнуть. — У нас ведь сам знаешь как: разом густо, разом пусто, начнут одаривать — не обрадуешься. Уехал в Англию, на Эдинбургский фестиваль, — вернулся владельцем пятикомнатной… Опять — кресла, торшеры перевозить…

— А супруга?

— Которая?.. Мне и смолоду-то на путную семью времени не хватало, а теперь оно и вовсе на вес золота…

— Кстати, — вспомнил Пал Палыч, кивнув на золоченую папку. — Мы ведь тебе, юбиляр наш драгоценный, целую оду сочинили.

— Пошли вы все к черту со своим юбилеем! — сердито отозвался Тверской. — Сам знаю, сколько стукнуло, все мои, не забуду! А еще называется — старый друг! — он примирительно обнял Пал Палыча, и они снова зашагали по лестнице. — «Не могу не любить… знаю, страшно страдать…» — напел Тверской и оглянулся на Пал Палыча: — Помнишь, в студии?.. Ладно у нас тогда выходило! «Так уж видно — судьба»… — он остановился перед дверью и загремел связкой ключей, — «…тебя, друг мой, узнать…»

За широким, без занавесок, окном светились белые крыши, уходили в перспективу огни широкой улицы. А в комнате, освещенной яркой, не оправленной абажуром лампочкой, Пал Палыч и Тверской сидели возле рояля; на рояле стояла недопитая бутылка коньяка и лежал нарезанный грубо лимон.

— Эх, Паша, будь моя воля, — задумчиво молвил Тверской, — я бы поставил где-нибудь в самой глубинке России памятник — неизвестному актеру. А скульптору приказал бы лепить его с тебя. И не спорь! — замахал руками Тверской, хотя Пал Палыч не спорил. — Все, все великие артисты вышли оттуда, из глубин!

— Да, Миша… насчет глубин, — Пал Палыч помялся чуть и решился: — К вам в театр должна показываться одна актриса. Не сочти это за протекцию…

— Фамилия? — спросил Тверской, потянувшись за бутылкой.

— Светильникова, Ольга Сергеевна.

Тверской отпил глоток коньяка.

— А откуда, друг мой, сей интерес? Э? — он погрозил Пал Палычу пальцем. — Узнаю коней ретивых…

— Я серьезно, — с досадой сказал Пал Палыч. — И она — актриса серьезная, своеобразная… талантливая…

— Переиграл, Паша, — покачал головой Тверской. — И сам себе не веришь, и я тебе.

— Почему это?

— Потому что видел я твою протеже. Уже показывалась. В «Грозе». Слабо, Паша, слабо… — развел он руками в ответ на несогласный взгляд Пал Палыча. — И с лицом… и, прости — без лица! А знаешь, Паша, я таких не жалею. Дурнушек — жалко. А эта — красавица, ну — побесится еще годик, другой, а потом — выскочит замуж и вообще забудет в театр дорогу… Лучезарный ты человек, Паша! — молвил Тверской, поглядев на заметно опечалившегося Пал Палыча. — Живешь на земле просто и ясно. Играешь в своем театре, хорошеньких женщин протежируешь!.. Пьесу для тебя написали… — он налил Пал Палычу. — За тебя! А кто — автор?

— Автор наш, да вы о нем и тут скоро услышите! Вот уехал, — сказал Пал Палыч, — а репетиции в разгаре. Еле отпустили, каждый день звонки, телефон оборвали! Телеграммы шлют — когда приеду…

Тверской слушал его, грустно кивал, и Пал Палыч, вдруг устыдившись своей лжи, еще минуту назад казавшейся ему столь необходимой, добавил ободряюще:

— А ты? Тебе уже вовсе грех жаловаться: ты у нас со всех сторон виден! Монумент! Обелиск египетский!..

— Сфинкс, — кивнул Тверской, кисло усмехнувшись. — Регалии, апартаменты, президиумы… Ау! — крикнул он, и эхо отдалось в пустых комнатах. — Только зачем мне все это, Паша? Сижу, как поэт сказал, в президиуме — а счастья нет… Тороплюсь — а куда?.. Все суета сует, и встает, Паша, банальный вопрос: а для чего мы живем на свете?

— Ты всегда знал: для дела!

— Нет, брат, теперь я поумнел, — покачал Тверской головою. — Не для «чего» человек живет, а для «кого». Слава — она, сам знаешь, ветхая заплата… А придешь вечером домой, один, свет во всех пяти комнатах зажжешь… и…

Он махнул рукой, с размаху выпил рюмку, налил другую, но пить не стал, не хотелось; отставил ее в сторону и глядел в пространство печально и отрешенно.

— Тебе бы тогда… На Богуновой жениться, Миша, — сказал Пал Палыч. — Она с ума по тебе сходила.

— Она сходила… и я — сходил. Рвался вперед к выше! Только бы первым добежать. Налегке — так проворнее… И добежал. Добежал! — повторил он со злой иронией. — Сижу вот тут, как филин, и одна мысль по ночам…

— Ну, Миша, это ты брось, — начал было Пал Палыч, но Тверской перебил:

— Да нет, ее я не боюсь, косую… Хорошо бы только помереть не дома — на сцене, да в отличной пьесе, не в ерунде какой-нибудь. Другого боюсь… — он наклонился к Пал Палычу и объяснил почему-то шепотом: — Боюсь, Паша, что дам петуха…

— Авось не дашь, Миша! Мы ведь с тобой — одной закалки.

— Дам, — сказал Тверской. — День кончился — говорю: спасибо, что не нынче, пронесло… А когда это случится, Паша, тут никакие регалии в счет не пойдут, спишут и забудут… И никто не скажет есть, а скажут — был. А может, и вовсе не было, а была одна видимость, мираж… — Тверской вытер повлажневшие глаза. — И такой скучный мираж, что о нем не то что пьесы, статейки в «Вечерке» не напишут.

— И мне, Миша, пьесы уже не напишут… — тихо сказал Пал Палыч.

Тверской непонимающе глянул на него, Пал Палыч кивнул и опустил глаза:

— Была пьеса и точно — для меня… А играть ее будет другой. Умом посвежее, годами помоложе…

— Ну? — Тверской откинулся на стуле.

— Вот и — ну…

Пал Палыч взял свою рюмку. И наступила долгая тишина. И было слышно, как где-то в доме сверлят неподатливую стену и кто-то бубнит гаммы.

— Пашка, — сказал Тверской. — Пошли ты их к черту!.. Сыграешь у меня в театре Трубача. Для начала! У тебя это всегда была коронная роль, будешь лучший Трубач в Москве!..

— Спасибо, Митенька, — Пал Палыч благодарно улыбнулся и покачал головой. — Ты знаешь, вот тебе крест — я на них не сержусь… И на автора тоже. Они правы. Все надо делать вовремя. А наше время, наверное, проходит… Беда только, что мы, актеры, — как красивые женщины: те не умеют вовремя состариться, а мы — вовремя уйти…

— Пятница, суббота, воскресенье, нет у нас от старости спасенья, — со вздохом подытожил Тверской, допил наконец свою рюмку и, положив пальцы на клавиши, взглянул на Пал Палыча, улыбнулся. — И все-таки, знаешь, Паша, — мы счастливее других: нам хоть раз в жизни повезло!

— Это когда?

— Давно. Когда мы с тобой стали актерами! «Не тверди, для чего я смотрю на тебя…» — начал он снова старинный романс, и Пал Палыч подхватил вторым голосом:

…и зачем, и за что полюбил я тебя… В твоих дивных очах Утопил сердце я, И до гроба любить Буду только тебя…

Так пели они в гулкой, пустой квартире, под расстроенное фортепьяно — два непохожих человека, с разными судьбами, уравненные в это мгновение общим воспоминанием о лучших днях, — пели неожиданно молодо, ладно и радостно.

Они не слышали стука, доносившегося из прихожей, а может, принимали его за одну из разновидностей звуков, которыми был наполнен обживающийся дом, — а стук становился все сильнее, тревожнее.

Наконец Тверской поднял голову, и стихла музыка, а затем и песня. Стучали в дверь.

Тверской вышел в прихожую.

— Тебе кого, девочка? — услышал Пал Палыч его удивленный голос, потом был невнятный ответ, и снова любезный бас:

— Здесь, здесь, прошу, барышня!.. — Тверской вернулся в комнату, пропуская перед собой растрепанную Катю.

— Катенька?.. — поднялся Пал Палыч. — Как ты меня нашла?

— Тебе звонили… Я в театре была… мне дали адрес… — она оглянулась на Тверского, тот деликатно отошел, и Катя сбивчиво, торопливо зашептала что-то Пал Палычу.

— Что? — страшным голосом вскричал Пал Палыч. — Когда?..

Пал Палыч преобразился неузнаваемо.

— Идиоты!.. — кричал он, ища пальто и шапку, и Тверской вдруг понял, что внезапный гнев Пал Палыча обращен на него. — Расселись тут в своих комиссиях!.. Бездушные люди! — слышал Тверской уже из прихожей и бежал за Пал Палычем, метавшимся в поисках выхода. — Выпусти меня отсюда!

— Стой! Паша! — догнал его Тверской. — Объясни, в чем дело?

— Это вас гнать надо из театра — помелом! Ни уха ни рыла не понимаете!.. Красавица… Протеже!.. — разносился голос Пал Палыча на лестнице, а Катя спешила следом и кричала испуганно:

— Да не насмерть, Палыч!.. Не насмерть!..

Светильникова — в сером байковом халате, осунувшаяся — сидела на краешке подоконника в больничном вестибюле.

— Таблетки, записка… — она поежилась от неприятных воспоминаний. — Пошлая мелодрама. «Ее жизнь разбилась о сцену…» Нет, я и вправду, Палыч, ни на что не гожусь…

В авоське у Пал Палыча виднелись оранжевые апельсины, и смотрел он на Ольгу радостно и ласково.

— И бог с ней, со сценой! Вы живы и глядите молодцом — хоть сейчас на обложку журнала, честное слово!.. Здоровы, слава богу, — это главное!

Светильникова грустно усмехнулась:

— Теперь и вы, Палыч, мне больше ничего не оставляете?..

— Да разве, Оленька, этого мало?

— Спасибо… — не сразу ответила Светильникова и подняла глаза: — Палыч! А ведь вы знали, что из меня ничего путного не получится?.. — Пал Палыч собрался было возразить, но Ольга кивнула: — Знали. Вы не могли не знать. Почему вы не сказали мне правды? Я ведь вас просила…

Пал Палыч медленно и понуро сник.

— А что такое — правда, Ольга Сергеевна?.. Кто ее знает до конца?

— А я вас и не упрекаю. Вы щадили… жалели. Одна виновата, сама… — Светильникова улыбнулась Пал Палычу печально, но ободряюще: — Вот я и поумнела… Когда поняла, что жива, что солнце на подоконнике — теплое, мне и стыдно стало, и ясно… Надо жить, как отпущено. Как дано… или не дано… Только дайте мне слово, поклянитесь, Пал Палыч! Он… об этой истории — никогда не узнает!.. Потому что это будет уже не любовь, — ответила она на вопросительный взгляд Пал Палыча. — А снова — жалость. А я в нее больше не верю.

Светильникова помолчала, задумчиво покачивая головой.

— Я ее боюсь…

Редакционный «газик» медленно, пронизывая светом фар поземку, двигался по покрову широкой реки. Оголенные ветром, блестели в сумерках участки темного льда. Верещагин сидел за рулем, Роман Семенович — рядом; он изредка поглядывал на Виктора Ильича, желая и не решаясь о чем-то спросить.

— Вам… — начал наконец Знаменский, — вам Ольга Сергеевна давно не писала?

— Давно, — Верещагин обернулся. — А что?

— Да странная история, — пожал Роман Семенович плечами. — Дошли слухи, что она не собирается возвращаться в наш театр… как будто бы едет в Петропавловск…

— Если вы скажете, что — на остров Диксон, — помолчав, устало отозвался Верещагин, — я тоже не удивлюсь.

— Так уж?

Верещагин вильнул рулем, выводя машину из заноса.

— Привык. Привык, Роман Семенович, не удивляться ничему, что преподносит ваш мир… таинственный и смертному непостижимый… Вот это — мое, — он кивнул на кипу свежих газет, лежащую на заднем сиденье. — «Шире фронт снегозадержания», «Новому году — новые темпы»…

— Не зарекайтесь, — Знаменский мотнул головою. — У вас талант, и если он уж раз пробился — хотите вы или не хотите, вы будете писать… Искусство умнее нас. И властнее… Думаете, так уж мне охота ехать на выездной, за сотню километров? А нужно — без Пал Палыча весь репертуар развалился: вводы, замены… И я — еду, не могу не ехать…

…Они стояли за кулисами бревенчатого поселкового клуба — и слушали голоса со сцены и дыхание зрительного зала.

— И мне кажется, — сказал вдруг Знаменский, — я даже знаю, о чем вы напишете… Это будет история о мужчине и женщине… о том, как она уехала за тридевять земель искать свой берег… как они писали сотни неотправленных писем, клялись в любви и ненависти, рвались друг к другу, но каждого удерживала своя страсть… свое предначертание… Может, вы и меня там выведете, — добавил Роман Семенович, — в роли какого-нибудь злодея… И я, знаете, не обижусь. — Он взглянул на Верещагина и улыбнулся: — При условии, конечно, что эту пьесу вы отдадите в наш театр!

А из зала тянуло теплом натопленной печи, оттуда слышался смех, и, покрывая реплики актеров, то и дело вспыхивали аплодисменты.

8

Та осень в Москве была промозглой и сырой. Снег выпадал и тут же таял, на мостовых и тротуарах лежала грязная кашица.

Пал Палыч мучался непривычной погодой и каждое утро ждал настоящего мороза — но потом привык понемногу, купил себе боты-мокроступы и таким образом приспособился к изменившимся климатическим условиям.

С утра он отправлялся за покупками, потом с наполненной сумкой приходил встречать Катю — в школу или на каток, откуда она выбегала ему навстречу раскрасневшаяся, с белыми конькобежными ботинками, болтающимися через шею на шнурках; и они, если не было срочных дел дома, шли на базар или в кино. А в театр Пал Палыч не ходил — с Мишей Тверским он считал себя в ссоре, стоять же возле подъезда и спрашивать лишний билетик полагал унизительным.

В парадном он отпирал почтовый ящик, доставал газеты — и всякий раз ждал письма, но тех писем, которых он ждал, не было; пришло лишь два, от Марии Бенедиктовны, коротких, написанных размашистым косым почерком. В одном были фотографии: Мария Бенедиктовна в новой роли. Пал Палыч долго их рассматривал, снимки были плохие, любительские, и Мария Бенедиктовна выглядела на них чересчур залихватски.

Подошел Новый год, загорелись огни новогодних базаров.

Они с Катенькой купили елку, принесли домой, делали игрушки, сочиняли смешные плакаты. А когда плакаты и игрушки были развешаны и елку опутали разноцветные фонарики, произошло радостное событие: пришла телеграмма. Но опять не из Белореченска — а издалека. Из Африки.

Они ждали запаздывающий самолет — и махали руками Вадиму и его жене, когда те наконец показались за пограничным турникетом, — и держали в руках теплые пальто для них, одетых не по-зимнему; потом были объятия и поцелуи, потом ждали багаж, и Вадим знакомил отца с друзьями, чернокожими африканцами, прилетевшими тем же самолетом.

У африканцев были очаровательные, закутанные до бровей детишки, быстроглазые и белозубые.

А потом, в двух такси, ехали домой, по Ленинградскому шоссе, по мосту через канал, мимо стадиона «Динамо», по украшенной неоновыми снежинками улице Горького…

На следующий вечер — это был канун Нового года — в гостиной квартиры Горяевых зажглась елка.

Стол был раздвинут и накрыт, горели свечи, и радужный полумрак казался особенно праздничным — может быть, оттого, что было много народа. Кроме старых знакомых пришли в этот вечер и новые — африканцы с детишками, и в шумном гомоне русская речь непрестанно сменялась английской.

А когда стрелки стали близиться к двенадцати, распахнулась дверь — и на пороге появился Дед Мороз.

— «Закрывайте руки-ноги, — густым басом гудел он сквозь ватную бороду, и присвистом, очень похоже, изображал вьюгу. — Закрывайте уши-нос! Ходит-бродит по дороге старый дедушка Мороз!..»

И под эти бесхитростные прибаутки из мешка один за другим возникали подарки: тульский пряник, перевязанный ленточкой, шоколадный заяц, барабан — и дети ревниво тянули шеи, ожидая своей очереди.

А через минуту Дед Мороз был уже за пианино и, подыгрывая себе, пел.

Детские руки цеплялись одна за другую, вокруг Деда Мороза, вокруг елки завертелся настоящий ералаш…

Одна Катя не принимала в нем участия и глядела на деда с недоумением, с обидой. То, что происходило, казалось ей стыдным, недостойным Пал Палыча, непонятным.

Зато Вадим был очень доволен, смеялся и хлопал в ладоши вместе с детьми — и даже пробовал подтягивать словам незнакомых детских песенок.

Ночью Пал Палыч оделся, защелкнул чемодан и, крадучись, не зажигая света, вышел в прихожую. В доме было тихо, все спали. Он отыскал на ощупь пальто, тихо повернул замок — и вздрогнул, услышав шепот за своей спиной:

— А со мной… ты не попрощался?..

В дверях спальни босая, в ночной рубашке стояла Катя.

— Катенька… — дрогнувшим голосом отозвался Пал Палыч, бросился к внучке, опустившись на колени, обнял ее. — Прости, виноват!..

— Как же ты мог — не попрощаться? Со мной? — повторила Катя. — Ведь я бы все поняла! Я еще вчера… я уже давно все поняла!

— Ну не сердись… — Пал Палыч опустил лоб на ее теплое плечо. — Я знал, ты у меня умница… Я боялся… вот чего боялся, — провел он пальцами под глазами и попытался улыбнуться бодрее. — Конечно, ты бы все поняла… Что никак мне нельзя без этого… знаешь, как это в старину называли? Без лицедейства…

— Только не надо больше так… Как сегодня!..

— Да что ты, глупая! Самая лучшая роль — та, которую играешь сегодня! Да, может быть, это была лучшая роль в моей жизни! Честное слово!

Катя гладила деда по седой голове, а он говорил:

— Теперь у тебя здесь отец и мать, а меня — там ждут… Они мне не пишут, им стыдно, наверное, но я знаю — ждут… Ну, ну — не сметь!.. — приподнял он Катино лицо и заглянул в ее мокрые глаза. — Ты приедешь летом, и мы опять будем жить вместе, на выездные вместе ездить. В Белые Ключи, на Ишимку… Там уже, наверное, мост построили, и поезда по нему ходят… Будем о жизни говорить, книжки умные читать. Ты да я, да мы с тобой… А врать я больше никогда не буду и никому — вот тебе слово, самое честное!

Они сидели на полу в темном коридоре, куда через приоткрытую дверь падала полоса света с лестницы, — и шептали друг другу самые ласковые и нежные слова, которые были у них предназначены для людей…

9

В Белореченске прочно стояла настоящая зима, с сугробами, с неоглядными снегами, начинавшимися от городских окраин, с морозным паром изо ртов.

Пал Палыч зашел домой с вокзала лишь на минутку, несказанно обрадовал своим появлением соседку, оставил чемодан и вновь вышел на улицу.

Он еще не знал, куда идет, просто шел с удовольствием по городу, по исхоженным улицам, здоровался с прохожими, узнававшими его, — но постепенно все ближе становилась площадь со сквером, пожарной каланчой и неказистым зданием театра.

Пал Палыч остановился перед служебным входом как бы в недоумении, постоял минуту, и рука его привычно толкнула дверь.

Здесь ничего не изменилось — крутая винтовая лестница наверх, сводчатое фойе с эскизами и портретами. Морозное солнце, пронзая шторы, блестело на паркете. А дверь в зал была приоткрыта, и оттуда доносились негромкие голоса.

На сцене, распахнутой настежь — непразднично, до голой кирпичной стенки, — шла репетиция. Актеры были еще без костюмов, и декорация пока была лишь обозначена конструкцией, похожей на уходящую в бесконечность лестницу. За столиком в проходе зала сидел режиссер Роман Семенович и недовольно постукивал по рукописи очками:

— Варвара Ивановна — вы опережаете события! — актриса, которую звали Варварой Ивановной, подошла к рампе. — Ведь вы еще не верите тому, что случилось, вам кажется это нелепицей, может быть, шуткой… Слезы будут потом. Еще раз, — сказал Роман Семенович. — И ты, Петя, не хорони себя раньше времени. Пусть для нас продолжается театр, действо! Ну-с, — «не надо плакать»!

— «Не надо плакать… — начал Петя Стрижов, медленно сползая с лестницы на пол. — Или ты не актриса, и не играла смертей пострашнее…»

— Стоп, — с досадой остановил Роман Семенович. — Кто она тебе, кто?

— Варя? Жена, — сказал Петя.

— Только жена? Сколько лет вы вместе? Тридцать! Тридцать лет скитаний, дорог, потерь! Она — твое второе я, мать, сестра, партнерша!..

— Понял, — сказал Петя.

— «Жаль, на поклоны нет сил…» — начал он.

— Это я вижу, — Роман Семенович бросил очки и встал. — Вы играете физическое умирание! Но ведь любовь бессмертна, разве она умирает вместе с вами? Голубчик, Петя, ну разве вы никогда не любили?..

— Понял, — повторил Петя и вернулся в исходную позицию.

— «Ирина… — снова зазвучал текст. — Ведь это только — одна жизнь… А мы, актеры, живем на своем веку сотни раз, мы бываем и королями, и нищими, и рабами, и восставшими воинами…»

Роман Семенович слушал, не останавливая. Все-таки Петя Стрижов был артист милостью божьей, он ухватил верную краску, слова возникали легко, улыбка героя была светлой… Он уходил из жизни красиво, торжественно, как может уходить лишь человек с мудрой и ясной совестью, проживший долго и счастливо.

— Второй выстрел! — крикнул Роман Семенович и сам громко хлопнул в ладоши. И Петя, вздрогнув, застыл, неподвижно распластался на сцене…

— Ну наконец!.. — после паузы произнес Знаменский, судя по всему, очень довольный. — Слава богу! — Петя, отряхиваясь, поднялся. Актеры потянулись к рампе. — Спасибо, друзья мои… Спасибо, Петя, спасибо, голубчик, — Роман Семенович надел очки. — На сегодня — все…

— Нет, не все! — раздался вдруг голос, и все, обернувшись, увидели Пал Палыча.

Пал Палыч, скинув пальто, перебрался через оркестровую яму на сцену.

— Не все, — повторил он. — А теперь тебе, Петя, будут много аплодировать!.. Первый раз в жизни — именно тебе! И ты будешь кланяться публике. В старое время — это была целая наука — наука поклонов!.. Ложам — поясной поклон, — сказал Пал Палыч и изобразил, как кланялись ложам. — Партеру — глубокий… Амфитеатру — низкий, но с достоинством… галерке — взмах руками… И всему залу — общий благодарный поклон, — говорил Пал Палыч и, показывая Пете забытое искусство, кланялся, кланялся, кланялся…